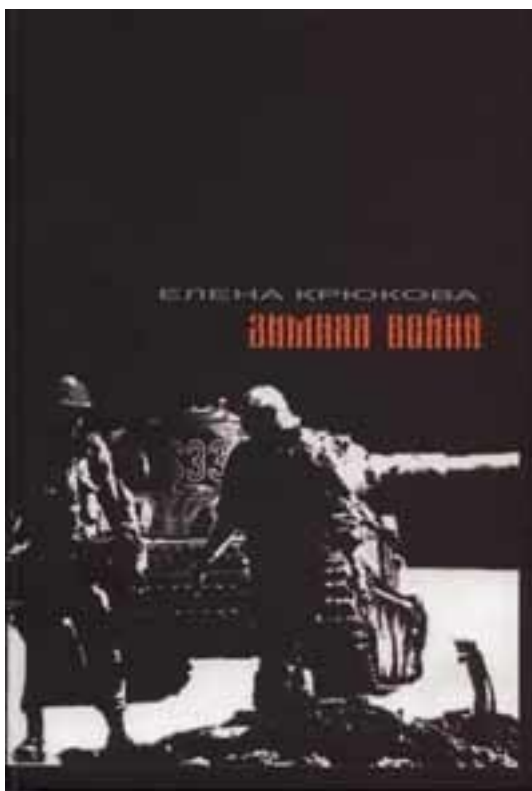


ΕΛΕΝΑ ΚΡΥΟΚΟΒΑ  
ΣΥΝΕΡΧΑΣΤΕΣ



Елена Крюкова

**Зимняя Война**

«Автор»

1991-1999

## **Крюкова Е. Н.**

Зимняя Война / Е. Н. Крюкова — «Автор», 1991-1999

Роман-симфония, в котором дана попытка осмысления войны – вечной проблемы современного социума. Солдат Зимней Войны, «необъявленной и идущей без видимых причин», по имени Юргенс, засылается командованием в Столицу. Ему меняют имя – отныне он будет зваться Лех. Его жизнь ввязывается в цепь приключений, охватывающих множество судеб, среди которых – жизни простых людей, аристократов царской крови, офицеров воюющей армии, русских юродивых. Драгоценный сапфир, Третий Глаз из статуи золотого Будды, сидящего в степи, попадающий позже в корону русских Императоров – символ-знак романа; охота за священным синим, цвета неба, камнем – охота за несбыточной человеческой мечтой. Острый сюжет в книге сочетается с мелодией эпоса, жестко-реалистично написанные военные сцены – со сказочными видениями, напряжение психологизма – с любовной лирикой. Автор свободно обращается со временем в романе. Мозаика больших фрагментов текста, расположенная не по хронологии, создает впечатление гигантской временной пульсации, подчеркивает единство мира. Современность узнаваема, но и темные колодцы истории, куда читатель имеет возможность заглянуть, тоже. События, разворачиваясь живописным веером, складываются в панорамную фреску, а экшн-сюжет держит в постоянном напряжении.

© Крюкова Е. Н., 1991-1999

© Автор, 1991-1999

# Елена Крюкова

## Зимняя Война

*«Их же имена, Господи, Ты сам веши».*

Она лежала, согнув и широко расставив колени, раззявив пасть чрева. Ее живот был чуть прикрыт грязной измызганной и дырявой рубахой, бывшей когда-то – века назад – белой. Рот открыт; дышит тяжело, с прихрипом. Вот опять крик. Крик ввинчивается в высокое, бело-прозрачное, как снятое молоко – холодное, ледяное, с погребя, зубы ломит, – жестоко-далекое небо. В небо можешь не кричать. Небо не поможет. Люди не помогут.

С белесого – ни единой тучки – надмирного неба валил призрачный, редкий, невесомый снег. Снег во сне. Ей все это снится. Ей снятся ее нечеловеческие страдания. Зачем она здесь?! Зачем здесь сотни людей, и мужчин и женщин, на страшных рабских работах, в неволе, в каменной тюрьме, что раньше, давно, была Божьим храмом? Небо молчит. Сыплет в лицо утешающим снегом. Она умрет от боли и холода, от голода и побоев, и не надо будет палец себе рубить, отрезать, чтобы занемочь, чтоб от работы отлынить, в лазарет попасть. Люди с кнутами и ружьями, их надсмотрщики, брешут, что где-то далеко идет страшная, большая война. А все время стоит зима, а война идет. Зимняя она и есть Зимняя, тяжелая Война.

А она в зимней тюрьме, зимняя рабыня, вздумала рожать. Да от кого еще – если дитенок выживет, она ему потом даже и рассказать не сможет: не сумеет. Язык не повернется.

Она вывернулась, изогнулась на зальделой земле, оперлась локтями о мерзлые земляные комки, чуть приподняла зад. Ее голые ноги, длинные сухие бледные, отсвечивающие зелено, разукрашенные синяками икры говорили о смерти. А она еще жила. Она рожала на холодной земле неведомую жалкую жизнь. Зачем. Ребенок умрет сразу же. Как пить дать. Она не сможет втиснуть ему в десны сосок – в тощей груди нет молока. О молочное, белое небо. Дай молочка немножко.

Она выгнулась к небу коромыслом, воздела выше торчащий, страшный живот, ударилась затылком о ледяной камень, закатила глаза. Она уже не кричала. Захлебнулась криком. Крик забил ей рот бешеной землею.

На нее глядели белые, прозрачные, призрачные, отовсюду – из кустов, из-за камней, валунов, из-за сваленных в груды гнилых досок, из-за изъеденной ветрами и дождями белокирпичной храмовой стены – лица, лица, лица. Лица скалились. Мигали. Щурились. Высовывали языки. Надували щеки. Ржали и гоготали. Глумились. Клацали зубами. Лица множились, двоились, троились, плодились. Лица падали на нее белым жгучим снегом, плевали в нее, кусали ее, и никто не целовал ее.

Никого не было рядом с ней на промерзлой островной тюремной земле.

Никого.

Она рожала одна.

Крика уже не осталось, а осталась великая боль. Надо было ее вытолкнуть из себя. Это последняя борьба, баба, так поборись. Не ударь в грязь лицом. Тебя так часто кидали лицом в грязь. Били по лицу наотмашь. И ты падала. Лицом в земляную сукровицу. В потеки глинозема и острые камни, рассекающие щеку и губу. В рот набивалась земля. Это твоя родная земля, женщина. Ешь ее. Глотай ее. Ты женщина, и тебе назначено Богом страдать. Грызи землю, и ты не почувствуешь боли.

Она зацепила ногтями мерзлую земляную горбушку, отодрала в беспамятстве коричневый жесткий кусок. Затолкала в рот, в зубы. Грызла. Глаза закрылись. Сугробное огромное тело вознеслось, выбухнулось, ворохнулось по-дикому, по-звериному. Волны судорог ходили по животу, выпроставшемуся из-под рубахи, мяли его, корежили. Внезапно живот опустился,

словно сугроб подался под весенней властной теплотой. Она изогнулась и вытянула шею, и открыла глаза, чтобы посмотреть на диковинное. Увидела, как меж ее раздвинутых, задубелых в напряженье худых ног потекла сначала белая, потом золотая, потом красная вода. Да это не вода вовсе, а вино. Вино это, девка. От Бога ты нагуляла, вот что. Да никто тебе ни на Островах, ни во всей зимней родной земле никогда не поверит.

Сейчас! Вот оно!

Макушка показалась в щели чрева. Она не видела ее. Видели ее дикие, белые, летящие вокруг нее и вместе с ней лица. Ее уродливые, жестокие ангелы. Она не дастся вам. Она не отдаст вам свое дитя. Она лучше родит и прижмет его к груди крепко, крепко, до задыханья, и они задохнутся вместе, и она возьмет его с собой далеко, под морозные своды неба, под замерзлую землю, чтобы оно никогда, никогда не страдало. Чтобы не видало кровь, стрельбу, распяленные в крике рты, ужас, смерть.

– А-а-а-а!.. ах...

Она зашарила руками по земле. Легкая, легчайшая снежная крупка летела, слетала с прозрачных небес. Лица сгрудились в белые кучи, склонились над ней. Она судорожно пыталась отодвинуться, закрыться от лиц руками. Изгибалась, змеилась по земле, по вымерзшим белым, как кости, камням изболевшимся телом. Ребенок грубо раздирал ей внутренности, живые ворота утлого тела, бил ей ногами в живот, бодал захрясшие от мороза, от рабской, каторжной поденки кости и сочлененья лона.

– Лица! Я не боюсь вас, лица! – крикнула она, и вместе с ее криком в свежем морозном воздухе, под ветвями голых лиственниц, раздался еще один крик – тонкий, нежненький, маленький, будто зверок закричал. Она извернулась, застонала, перекатилась на бок, осторожно отвела ногу от живого, винно-красного комка, бьющегося и плачущего под ней, под ее костями, обтянутыми гусиной кожей. Только бы не раздавить. Очень осторожно, нежно, затаив дыханье, до крови закусив губу, она села на земле, помогая себе изо всех сил ослабелыми руками, и взяла в руки ребенка. Мальчик?.. Девочка. Несчастливая, сиротливая щелочка, отверстие страданья, зияла между красных сучащих ножек.

– Бедная моя!.. – выдохнула мать.

Она взяла ребенка в дрожащие, потерявшие волю руки. Пуповина моталась кровавой веревкой. Она наклонила непослушную, разбитую о камень голову и перегрызла нить, соединявшую ее с ее дочерью. Перевязать бы... она выдернула дрожащими крючьями пальцев суровую нить из рваного подола рубахи. Замотала кровоточащий отросток. Девчонку надо как-то назвать. Здесь много заключенных священников, вот пускай и покрестят. А ей что. Последнее разуменье боль выдула из нее. Напрочь – как ветер на Секирке. Как белый небесный сквозняк.

– На грудь!.. На!.. что не берешь?.. пусто?.. невкусно?!..

Она пыталась засунуть ей пустой страдальный сосец в орущий круглый, копеечкой, ротик, – ребенок плевал угощенье, отворачивал головенку, не хотел, дергался, извивался красной ящеркой. Господи, как холодно. Она внезапно поняла, что – холодно. Что мороз и лед кругом. И надо спасти. Выжить. Прижать...

Рубаха! Содрать с себя рубаху! Она закутает ребенка в рубаху, а сама хоть гори синим пламенем! Девочка будет закутана... а она...

Она, задыхаясь, положив младенца на колени, начала резко, зло срывать с себя жалкие, мотающиеся на низовом морском ветру бедняцкие тряпки. Девочка прекратила плакать и пищать. Разевала беззвучно ротик. Покряхтывала. Мать бестолково, неумело закутывала крючившееся тельце, пеленала, заворачивала, укрывала от ветра – всем теплом нищих тряпиц, всей грудью и сгорбленной спиной, всем голым, раскрывшимся над малым птенцом костлявым телом. Тело смертно. Оно умрет. Дитя, ты не умрешь. Ты будешь жить. Будешь. Будешь. Сейчас будет тепло. Вот так хорошо. И еще здесь подоткнуть. Чтоб ветер когтем не достал. Вот так. Так.

Ее так и нашли на вершине Секирки, за белыми лысыми валунами – голую, сторбленную на морозе, застывшую глыбой костлявого изработанного камня над закутанной в тряпье девочкой, слабо попискивавшей, подающей нежный птичий голосок из кучи подталой, выпачканной углем и кровью грязной белизны.

Солдат выстрелил последний раз и бросил карабин.

Закончились патроны.

Закончилось для него все. Жизнь закончилась.

Выла и дула беловолосая метель. Ветер в горах – страшное дело. Обморозишься хуже, чем на море. Загубишь и щеки, и лоб, и нос, а уж о руках и ногах говорить нечего. У него нет еды, нет укрытия рядом – ни блиндажа, ни траншеи. Он отбивался один, пока хватило гранат, привязанных к ремню, и патронов в подсумке. Теперь все. Его подстрелят, как глухаря.

В широко открытых навстречу набухшему рваными черными тучами небу вспыхнул огонь красной, волчьей тоски.

Рядом с ним торчали вмерзшие в снег трупы. Бедные, запорошенные твердой и мелкой снежной крупкой мертвые люди. Они еще успели выскочить из горящих, подожженных врагом танков. А что такое враг? Что такое враг, Господи? Ты сделал, Господи, Каина и Авеля. Ты сделал меня, Господи, и вот я стреляю во врага своего. Но ведь я не ненавижу его, Господи. Это все Зимняя Война. Она идет, Господи, и это тоже Ты сделал ее?! Или это мы сами сделали?!

Горы стоят недвижно, созерцая Войну. Мохнатые склоны, голые изломные вершины. Острые, будто рубила, каменные ножи.

Далеко сгрудились орудия. Широкие багровые, ярко-оранжевые рваные лоскуты пламени вылетают из их железных пастей, бьются и рвутся, зализывают раны ветра, опахивают горные склоны, змеистые ущелья. Как далеко летит прицельный огонь. Человек научился посылать огонь на большое расстояние, и он несет смерть. Что такое смерть, солдат. Ты не знаешь? И я тоже не знаю. Это когда тебя нет. Вот ты есть, и вдруг тебя нет. Это очень страшно. Знать, что ты больше никогда не откроешь глаз, не поглядишь на вкусный, яркий мир. Зато больше никогда там, в смерти, не будет мучений. Ни гари. Ни разрывов. Ни взрывающей сердце изнутри проклятой боли. Врачи в лазарете говорят, что боль есть только воспоминанье о боли. А смерть что же – лишь воспоминанье о смерти? ТАМ уже не будет больно. Там благостно. Тихо. И мертво. И ты больше никогда...

Взвыли, заревели рядом танки, как звери. О, они обошли тебя, солдатик. Они вывернулись из-за того гольца. Здесь гольцы – голые горы, в трещины камня набивается снег, торчит жалкой медицинской ватой, серой корпией. Сейчас они увидят тебя, и черная шея танка повернется, и огонь достигнет твоей жалкой живой шеи. Огонь выберет место. Он захочет угнездиться в твоей груди. В твоём лбу, так и не успевшем подумать о прекрасном. О любви, к примеру. Ты очень молод, солдатик. Хотя ты нанюхался смерти вдоволь, как кокаину, а все же ты молод, и ты не знаешь лязг ее костей.

В черном, разорванном на лоскуты небе взвились, взвихрились и рассеялись, растаяли яркие красные брызги сигнальных ракет.

Танк наставил черную железную шею орудья на бедного маленького человечка. Солдат успел вздохнуть, а помолиться не успел. Огонь лизнул черный воздух, прошел морозное тягучее, как холодный мед, пространство, достал его красно-желтым похотливым языком. Смерть всегда неистово хочет жрать. Огонь голоден всегда. В особенности на Зимней Войне.

Солдат вскинул руки, приподнялся на коленях, будто собирался идти в атаку. По груди, затянутой в грязную болотную гимнастерку, полоснули струи огня, и кровь выступила мелкими, частыми красными нотами, разбрызнулась, как паузы по партитуре. Он упал лицом в снег. С его затылка ему на щеку сползла каска. Прошло несколько минут... веков?.. Он уже несколько не отличался от лежащего ничком собрата, в изорванном в клочья маскхалате, в утепленных ватой, простеганных штанах – нога в крови, рука без кисти, перетянута выше локтя

ремнем: видно, пытался в предсмертной судорожной панике унять, остановить кровь, – да не смог. И кто что из простых солдат смогает на Зимней Войне? Никто и ничего. Участь солдата – умирать. Да и командир смерти не боится.

Зимняя Война. Необъявленная. Вечно идущая. Без видимых причин. А, болтали, была причина – кто-то в кого-то там выстрелил. А может, это только слухи. Сейчас никто уже и никогда ничего не узнает, как и почему. Идет – и все. И умирай на ней. И все новые и новые солдаты посылаются, мальчишек выдергивают прямо из постелей, с голубиных чердаков, от юбок вопящих матерей.

Солдатик лежал ничком. Каска его отсвечивала красным в огне далеких орудий, как красное яйцо. Через несколько дней он вмерзнет в снег. Он хорошо сохранится. Если бы сюда приехала его мать, она могла бы его запросто опознать.

– Войди!.. Взойди в церковь-то, нехристь!.. Да за гибнущих на Войне – помолись... языком-то поворочай своим... Люди, чай, это не птички... падают там, навсегда остаются... в горах этих проклятых...

– Ну, мать, что на меня так смотришь... я-то тут при чем... я, што ли, эту самую Войну развязал... помолюсь, конечно... да толку што... тут разве Бог поможет... может, это Бог сам ее на нас и наслал... за грехи...

Из открытой двери церкви доносились небесные звуки хора. Нежный девический голос взмыл вверх. Так взмывает белая голубка в синее, отчаянно прозрачное небо.

Вокруг церкви сбивались в стаи собаки, лаяли голодно, надсадно, брехали, высунув языки до когтей, до алмазного сверканья снега. Собаки устраивали на снегу игрища и гулянья. Морозы стояли крепкие, жестокие – до звона чугунных рельсов в ночи, под яркой раскосой Луной.

Господи сил, Господи сил. Она военная жена. Она на фронте. И эта Зимняя Война ее истреплет вконец. И ее зовут Кармела. Сладкое, никчемушное имя. Если б она могла печь хорошо блинчики и оладьи, она осталась бы в Армагеддоне. Она попросилась бы работать на кухню в любую, самую захудалую и занюханную блинную или пельменную, она простаивала бы часами в жару и в чаду, отбрасывала со лба жирные потные волосы, пекла и пекла, ляпала на огромную черную сковороду шмапки белого теста, переворачивала их деревянной лопаточкой, чтобы потом сбросить с раскаленного железа сковороды и накормить голодных людей. Вон они, люди – кучами стоят, толпятся за перегородкой. Всем хочется есть. Все лязгают зубами. Криво усмеваются. Корчат ей рожи; ей, кухарке и раздатчице.

А теперь вот тут прозябай. Корчись под выстрелами. Ее два раза уже ранило. В горах затеряна заброшенная табачная фабрика. Солдаты хотят курить. Она набивает старым, древним табаком самодельные трубочки, свернутые из любой бумаги – из старых газет, из грязных ошметок, годных разве что для клозета. Она и сама тишком научилась курить. Подносит к носу свернутую горе-сигарету, вдыхает терпкий запах. Потом лезет в карман за спичками, чиркает, тщится – напрасно, спички сырые, крикни вестового, поклянчи у него зажигалку. Модную, американскую. Таких в России не делают.

И взвей язычок синего огня; и прикури. И затянись – так глубоко, чтобы дурманный дым поднялся к темени, обволок глаза, кинул ко щекам пламенную, темно-алую бредовую кровь. Сколько крови на Войне. Сколько криков. Покури вот так, молча. Помолчи.

Они там, за стеной, гогочут, клекочут. Они птицы. Они маленькие людские звери. Они воют – зачем-то, бесконечно. Берегись, Кармела, табак – это на опий. Не укуришься. Простой смерти подобен. К тебе, в домуюлку, все время, то и дело наезжают люди на черных военных машинах. Стучат в дверь сапогами. Ломятся. Требуют: нам сигарет, кустарной твоей махорки!.. да поживее... мы тут же едем на передовую... мы с передовой... перед смертушкой хоть накуриться вволю!.. да не мешало б еще и девчонки отпробовать... а, Кармелка?!.. что жмуришься... не хочешь?.. что, обидели мы тебя, да?.. извини, мы не хотели... да ни за какие

деньги не поверю, что ты тут – ни с кем... заткнись, дурень, у нее же есть муж!.. Какой муж?.. этот, мрачный хмырь такой, все молчит всегда, что ли?.. это – ее муж?.. ну и влипла девка... да нет, ребята, это не муж, это так, военный муж... вот закончится Зимняя Война – они тут же и разженятся... это здесь они, от тоски... Заткни глотку, ты!.. девушку не оскорби!.. знаешь китайскую мудрость: никогда не бей женщину, даже цветами... а словами – можно?.. а лучше всего, по-нашему, по старинке, – кулаками, – смирней будет, слаще тело будет... и душа прогнетя, под меня мягко ляжет...

Мягко стелет – жестко спать...

В дверь забарабанили, загрохотали. Знакомый стук. Это он. Только он так тарабанит, будто на пожар. Она любит его? Как и кого можно любить на Войне?! Она отерла пот и табак с влажной, в капельках, губы пропахшей табачными листьями ладонью. Побежала открывать – путаясь в рассыпанных на полу свертках с сухими пахучими листьями, задевая ногами о крепко увязанные мешки с табаком, заплетаясь, спотыкаясь. Она все-таки еще пьянела с глубоких затяжек. Вот когда она совсем научится курить и не будет пьянеть, а только холодно шуриться сквозь сизый дым – вот тогда она будет настоящей солдаткой.

Она резко откинула гигантское кривое ухо железного крючка.

– Это ты, Юргенс!.. это ты... проходи!.. Я работаю...

Мужчина прошел в табачную каморку, согнувшись, чуть не задев головой о притолоку – так был высок. Когда я иду, я задеваю голову тучи, смеясь, говорил он. И она смеялась вместе с ним. Бедная Кармела, руки твои все в табаке, и нос тоже, да ты и не сыта и не пьяна. А как хочется вкусной, сытной еды здесь, в проклятых диких горах. И хорошего вина. И стол накрыть. Хорошо выстиранной белой камчатной скатертью; и уставить его драгоценной, прозрачной хрустальной посудой; а говорят, есть такой богемский хрусталь, он цветной, и на снежной белизне горят разноцветные рюмки, синие фужеры, темно-красные бокалы. И она трогает их мокрыми пальцами, обводит пальцем края, и они звенят, звенят, поют тонкую, скорбную застольную песню. И люди, стоящие и сидящие за богато сервированным столом, улыбаются друг другу, шутят, травят анекдоты, сыплют светскими непристойностями, галантными фразочками, шепотом выбалтываемыми тайнами, передавая друг другу на блюдечках то шпротину, то мандарин, то дольку апельсина, то ломтик дыни, то кровавый, дымящийся бифштекс. Кровь. Опять кровь. Не надо кровь. Лучше пусть передадут мне... вон там, видите, возвышается горка... немножечко салата оливье и, пожалуйста, две крабовых лапки. И налейте чуть-чуть желтого муската в бокал. Я выпью за вас, господин... В какой прежней жизни это было. И с тобой ли. Ты не перепутала ли чего.

– Привет, Кармела. Как ты тут?

– Да уж как видишь.

Он видел – раскардаш; развал; раздрызг. Мешки с горным тибетским и алтайским табаком то завязаны, то развязаны, из холстины табачные духмяные рыжие пряди торчат, благоухают. Работенка не бей лежачего. Свернуть сигарету, набить душистым мусором. Зачем мужик курит сухие растенья? Чтобы набраться храбрости, трус врожденный?.. Чтоб забыться – здесь, на Войне, где помнишь все до пятна чужой крови на вороте гимнастерки?

– Я тоже ничего себе. Я убил троих.

– Богатый урожай.

– Меня хотели убить, а я убил троих. Справедливый расклад, а?

– Все, что делает Господь, все справедливо.

– Умоленная дура! Твои молитвы надоели мне!

– Ты разве некрещеный, Юргенс. Давай я тебя покрещу. Встанешь под водопад, я прочитаю «Отче наш», а крестик...

– Свой, что ли, отдашь?..

– Я... для тебя припасла. Тут, в горах, есть православный заброшенный монастырь, там икона Божьей матери Одигитрии. Я, когда танковая атака была, туда убежала.

Он усмехнулся. Взял ее за плечи, встряхнул. Губы его улыбались, а глаза глядели прямо в ее глаза мрачно, не мигая.

– Помолиться за всех?.. Скопом?..

Она повела плечами, освобождаясь от его цепких рук. Откинула голову. Черные, крупно, кольцами, вьющиеся волосы скользнули вниз по спине волной. В ухе сверкнула золотая серьга. Он проследил, как косит вбок и вниз ее темный, похожий на черную сладкую сливину глаз. Как она загорела – снег, жесткое яркое зимнее Солнце, отсветы белых лучей бьют ей прямо в щеки и шею, она бесконечно топчется на ветру, принимая товар на склад, мешки с провизией и табаком, помогает санитарам таскать раненых на носилках; и стрелять, стерва, научилась. Прекрасная военная жена. Лучше не сыщешь. И хороша, собака. Когда его днями, неделями нет в табачной каптерке – с кем она веселится по ночам?!

– За всех; как ты догадался.

Она резко повернулась – он увидел, как под мокрой от рабочего пота гимнастеркой содрогнулась ее спина – и крупными, сердитыми шагами отошла прочь, к зарешеченному крохотному – будто тюремному – оконцу.

Одним волчиным прыжком он настиг ее, обнял, облапил, затормошил, исцеловал мигом ее сердитый затылок.

– Не злись. Это Война. На ней особо не позлишься. Ведь и я жив твоими молитвами. Это верно. Как ты думаешь, Кармела, что такое катастрофа?

Она извернулась в его руках, оказалась лицом к его лицу, рядом, дыханье к дыханью.

– Это большая беда, Юргенс.

Он хохотнул.

– Я и сам знаю. Что она такое по сути? Здесь и сейчас? Зачем человек в ней участвует? Почему человек не Бог, не может понаблюдать ее издали?!.. со стороны?!..

Он задрожал мелко, бешено. Бешенством блестели синие белки глаз. Он сжимал женское мягкое тело, хрупкие косточки все крепче, все жесточе. Господи, у него и раньше бывали припадки. Он все хотел добраться до сути жизни. До сути любви. Вглядеться вглубь. В сердцевины ужаса. В нутро радости. Иногда ему удавалось. Когда он начал тащить туда, в колодцы довременной тьмы, ее, она упиралась как могла; как молодой бычок – его тащат на бойню, а он втыкает рога в землю, в кору дерева, мычит, не хочет под нож.

Она взяла его лицо в ладони.

– Погляди на меня, Юргенс. Погляди на меня. Ты слышишь меня?

– Как не слышать. Прекрати так орать. Я не глухой.

– Мы все внутри катастрофы, Юргенс. Мы уже внутри катастрофы. Ты это понимаешь?! Но мы все живы. Если мы умрем, мы уже не будем внутри катастрофы, значит, это уже будет не катастрофа, потому что мы ее не будем чувствовать... видеть. Не дрожи! Не трясись! На, закури!

Она выпустила его лицо из рук, как выпускают птицу, села на корточки, стала дрожащими руками набивать ему свежую сигарету. Бумажная трубочка то и дело выпадала из ее пальцев. Набив бумажку, она встала, вставила ему в зубы, нашарила в кармане зажигалку, крутанула огненное колесико. Змеино раздвоенный язычок пламени обхватил сигарету, высветил золотом, медом коряво слепленные булыжники обветренного, исчерченного шрамами лица. Кармела подняла руку и осторожно коснулась пальцами грубо перевитой веревки шрама – через всю щеку; погладила тихо, тихо.

Он затаился – раз, другой, жадно, глубоко. Дым помогает забыть ужас. Зачем он обрушивает своей собственный, родной ужас на эту женщину? Эта женщина – одна из женщин на пути. Он идет по горам длинным, долгим путем Дао. Это Восток, и это восточные горы; и здесь,

в горах и степях, идет вечная Зимняя Война, и он ее солдат. Он никогда не станет ее генералом. А этой красивой девчонке нужно быстро взбежать по лестнице жизни. Она ждать не будет... не любит. Ей надо будет кинуть к чертям эту табачную хижину, мешки с сухой травкой... подстелить себя под высокого чина, под генерала. И она станет генеральшей. А кинуться под танк со связкой гранат на боку она успеет всегда.

– Спасибо. Отличный табачок. Сделай еще одну. Одной мало.

– Хорошо.

Пока она сворачивала ему вторую сигарету, он уселся на перевернутый ящик, стащил сапоги, пошевелил затекшими пальцами ног. От портянок пополз вверх тяжелый, затхлый коровий дух.

– Сделать тебе таз с горячей водой... попаришь ноги?..

– Не откажусь. Это царское удовольствие. А если ты меня еще всего искупаешь в тазу, как младенца Христа...

Он скинул с себя гимнастерку, углами, натужно, вывернув негнущиеся руки. Она увидела его спину и прижала руки ко рту, загнав внутрь огромный крик, вой.

– Кто тебя...

– Неважно. Я же жив. Ты же сама говоришь – мы живем внутри Конца Света.

– Постой... я мигом...

Она швырнула ему сигарету, вылетела вон из каморки, чтобы тотчас влететь внутрь, к нему, сгорбившемуся на гнилом колючем, в деревянных занозинах, ящичке, таща в руках громадный медный таз, доверху наполненный грязным мрачным кипятком. Пар, поднимавшийся от воды, обволок их, гладил им голые локти, лбы, щеки. Их загорелые лица покрылись испариной.

– У меня и мыло есть. Вот. Я припасла. Я стащила у Исупова... мое быстро измылилось, а он получил партию мыла в подарок от Штаба. Я украла для тебя, ты не сердись.

– Я не сержусь. Я доволен сверх меры.

Она поставила таз рядом с ним, сидящим на ящичке.

– Скидывай штаны и вставай в таз ногами. Вставай во весь рост. Не приседай. Я буду тебя мыть, везде достану. Не пищи, если вода горячая. Надо промыть все раны на спине с мылом, они грязные. Тебя что, по земле валяли?..

– Они хотели зарыть меня в землю живьем, Кармела. Но теперь это не имеет значения. Мой! Ох, горячо!.. жжет... щиплет...

Она намылила странную кудрявую мочалку, сделанную из листьев растенья «верблюжий хвост», изобильно растущего в здешних горах, и медленно провела ею по взбугренной, исполосованной штыками и прикладами длинной худой спине. Грязь сползала потеками, темными дорогами. Он стоял в медном тазу, в кипятке, терпел, морщился, кричал, стонал. Она терла мочалкой его грудь, его ключицы, его ребра, у него под ребрами, все ниже и ниже, ее мыльная рука коснулась его чресел, и они судорожно вздыбились. Черт. Он хотел эту женщину. Он всегда хотел эту женщину – даже когда лежал в грязной траншее, под гусеницами бешено ревущих вражеских танков, и закрывал глаза, и представлял ее, и сразу же желал ее. Он ее любил? Он никогда не говорил ей о любви.

Голый, весь израненный, стоя в тазу, он обнял ее, и его мокрое тело отпечталось на ее гимнастерке и юбке цвета болота.

– Ты хочешь?.. здесь нельзя...

– На Войне можно где хочешь. Мне все равно где, лишь бы с тобой.

Он вышел из таза, прижал ее к себе одной рукой, другой стал быстро, жестоко расстегивать ей пуговицы на гимнастерке, рвать, раздирать крючки и завязки. Обнажив ее, он толкнул ее на мешки с табаком. И голая она тоже вся смуглая, удивился он, и каждый раз он так удивлялся. Он задрожал – теперь уже от вождельня. Вождельня мяло его и крутило, как ветер,



приемам, и древним кельтским выпадам. Откуда они это знают?.. на Зимней Войне, детка, все знают все про всех, если понадобится. Видно, я им понадобился. Итак, мы расстаемся. Гляди не заведи тут без меня кого. Знаю одного... Серебряков его зовут. Ослепительный. Издалека видно. Он мне врал, что он с тобой...

Он изучающе метнул в нее искры смеющихся, отдыхающих узких глаз.

– Мало ли кто что врет. У тебя глаза узкие, как у Будды.

– Мне уже говорили.

– Когда ты едешь в Ставку?

– Завтра. Сегодня ночь наша.

– Что они там... в Ставке... смогут потребовать от тебя?..

Она говорила задыхаясь. Ну и клушки эти женщины. Курицы. Чуть покажи пальчик опасности – разволнуются. А вся изрезанная напрочь спина уже ничего не стоит.

– Смажь мне раны йодом... и перевяжи. Табачные листья в раны набились. Ну мы и дураки. Заниматься великой любовью тут... а комендант вошел бы?..

Они оба расхохотались. Смех вдруг оборвался, как шелковая ветхая нить. Старинный монгольский медный таз стоял на уровне их глаз, их лежащих на табачных мешках голов.

– Думаю я так, Кармела дорогая, что меня нагрузят тайным грузом и пошлют далеко, далеко... посадят в самолет, заведут мотор... Лети, аэроплан, безмозглый ты баран... я же знаю языки... может быть, в далекое сказочное царство, государство... возложат на меня миссию, и буду я, как некий Мессия, как твой Христос...

– Но ведь и твой же тоже!

– Я ничей, и никто не мой. Я не собственник. Я радостный Будда. Я сижу в пустыне на колючем снегу и созерцаю мир. Вернее, Войну. Пусть ее идет. Закончится когда-нибудь.

Кармела в отчаянии привскочила с табачных мешков. Ее нагое тело сверкнуло в свете законного месяца, рассыпанных серебряным пшеном по черному блюду звезд старым, тусклым аратским серебром.

– Она никогда не закончится! – Пронзительный женский крик сотряс избенку. – Никогда! И ты уедешь! И тебя убьют! И я останусь одна! А Война все будет идти! Всегда! всю жизнь! Все другие жизни! Мне надоело, Юргенс! Мне надоела Война! Мне надоела кровь! Раны на спине! Оторванные ноги! Мне надоело голодать! Я хочу ананасов! Пирожков! Хорошего вина! Мне надоел противный запах табака! Меня тошнит! Рвет!.. я...

– Ты не беременна?

Он тихо засмеялся. Она, плача, одевалась. Пялила на себя все невпопад – сначала юбку, потом штанишки, потом нательную рубашу. Какое безупречное нижнее белье у этой бабы. И как только она ухитряется... на Войне. Стирает все в щелочи, в золе... бегаёт на водопад...

– Ты знаешь, – всхлипнула она, – ведь это старый монгольский таз, старинный, в нем старые монголки, аратки, варили варенье из диких яблок... Будешь в Ставке – нарви мне там диких яблок, кислых... я знаю, они там, ниже гольцов, на яблонях... возьми мешок, нарви... у меня десны болят... цынга... тебе страшно меня будет целовать...

– Мне ничего никогда не страшно. Ты моя прелестная военная девочка. Не реви. Только я тебе правду сказал. Я не вернусь вдруг. Я долго не вернусь. Я, может, больше никогда не вернусь. Это не значит, что я умру. Это значит, что мы...

Она зажала ему рот рукой.

– Не говори, что расстанемся! – завопила она истошно.

Отняла руку. Устыдилась вопля. И очень тихо, медленно, страшно выронила:

– Зачем... я... тебя... люблю. А ты... меня... нет.

Вдалеке, в горах, ухнул разрыв. Терпко, как в приморском саду на клумбе, пахло табаком; и внезапно запах сделался горьким, грубым, вонючим, как сброшенные портянки, мужицким, густым, перегарным, диким. Бригада танкового корпуса, прибывшая для наступления из

резерва Ставки, осуществляла контрудар. Они заняли круговую оборону, и важно было где-нибудь, как-нибудь прорвать залятое кольцо. Ухало, свистело, завывало вдали. Горы сотрясались. По небесам безжалостно дубасила артиллерия. Юргенс разорвал слипшиеся, будто запекшиеся губы. Он все-таки пробормотал ей ЭТО.

– Брось. Я люблю...

Он не успел закончить. Дверь отлетела под ударом сапога. На пороге вырос полковник Исупов. Хорошо, что они оба успели одеться.

– Немедля! – заорал он. – Живо! Никаких завтра! Никаких сборов! В чем есть! Сейчас! В Ставку! Вертолет на плато Мунку-Сардык, вылет через... – полковник быстро выдернул из мундира брегет, – двадцать минут! В Ставке тебе говорят, что и как, ты переодеваешься во все цивильное, ты летишь двумя самолетами, перекладными лошадьми, сперва в Армагеддон, потом еще подале!.. Куда?!.. ах, тебе все сразу выложи, при бабе?!.. Я-то знаю все, а тебе лучше пока ни о чем не знать!.. Кармела, брось, не надо никаких вещмешков, никакого белья, никакой еды... там нас накормят до отвала... брось...

Она уже сновала по табачной каморке, хватала вещмешок, толкала в него нелепые тряпки, кальсоны, подштопанные ею к его приходу, носки, неистово штопанные на пятках, все пятки были дырявые, а носков здесь, в горах, было ни купить, ни связать, она, правда, хотела похитить шерсти у старых буряток, да куда там, она до ближайшего селенья никак добраться не могла; зажеванную горбушку хлеба, початую пачку галет, свиные консервы – ни капли мяса, один желтый жуткий жир, – а все же еда, как ни крути, – а мужики глядели на нее, как на вертящуюся в пыли жужелицу, как на копошащуюся в опилках мышшь, – да баба и есть мышшь, мышшь крупная либо церковная, и что она делает здесь, на Войне?!.. и ведь это он, Юргенс, говорил ей все время, какая она красивая...

– Какая же ты красивая, Кармела, – сказал, облизываясь, Исупов. – Вот Юргенс улетит, тебя все медведи, все волки быстро загрызут. Вкусная.

Она беспомощно, жалко поглядела, снизу вверх, на каланчу Юргенса. Вещмешок с тряпьем и жратвой вывалился у нее из рук, покатился по холстинам, набитым табаком, по источенным жучком доскам пола, по их прошлому, по их несчастному будущему. Враки. У них будущее счастливое. Будущее всегда счастливое. И она красивая. У нее нет зеркальца, чтоб посмотреть, какая она красивая. Она разбила. Сегодня утром. Это плохая примета.

– Давай, Юргенс, шевелись! – крикнул зычно, как на плацу, Исупов, и избенка чуть не разнеслась на досточки от мощного окрика. – Иначе они зенитками и наш вертолет, не дай Бог, достанут!

Он обернулся к ней. Хотел поцеловать.

Их глаза – его, узкие, и ее, сливины, – столкнулись.

– Глянь, Юргенс, – возопил Исупов, – она красива, как ведьма!.. Прощай, красотка полковая!.. Живей!.. нас подстрелят, как рябчиков...

Когда за ними захлопнулась дверь и стал слышен сдвоенный топот тяжелых сапог по промерзлой, гулко звенящей каменистой земле – все прочь, прочь и прочь, – она рухнула на мешки, набитые пьяной травой, и замерла так, как будто уже умерла – лежала без движенья, без вдоха, сраженная, убитая в бою.

Арестовали тебя во фраке – ходи всю зиму во фраке. Взяли в платице – бегай всю зиму в платице.

Ах, Глашенька, а слыхала ли ты, деточка, что наместни на Анзере-то стряслось. Там изба священника, отца Никодима... так ироды подперли ее колом, запалили, и вся сгорела... дотла. Ах, ужас-то где!.. Платице... От платица уж рожки да ножки остались. Давно в мешке с дырами для башки, для рук – бегаю. Обутка – лапти на босу ногу. А где-то далеко, Глашенька, ведь идет, идет проклятая Зимняя Война. Не сладить ее ничем. А у нас-то, Ириночка, – тоже Война!.. да ее никто не видит... скрытая она от острого взгляда... только дух ее чувствует... да еще

если поглубже носом втянуть... От нас вонища – горелым, жженым, паленым, мертвецким – за сто, за тысячу верст раздается. Неужели не слышно им... тем?!.. кто там... под выстрелами...

А мы, Глашенька, что ль, не под выстрелами. У нас здесь выстрелы – что твой горох. Пули так и летят. И все в нас. Горько шутишь, подруга. Да уж как получается. Шутки шуткуй, а потом рот на замок закуй. На смерть, ко рву, туда, где залив, надо идти с улыбкой, Глашенька. Я и пойду с улыбкой. Врешь!.. Вру и не краснею... конечно, орать буду благим матом... уж очень я люблю жизнь, Иринушка. Так люблю, что в зобу дыханье спирает и перед замуренными глазами красные кольца и стрелы плывут. Я вижу Божьим зреньем кровь... ее знаки, отметины... мы все в крови... этот век – весь в крови, Ириночка, весь... и не отмоешься...

А тут еще, знаешь, подружка моя, одна баба неразумная на Секирке родила... голяком сидела, в рубашку приплод завернула... девчонка!.. живая... ее растерли водкой...

А где она теперь?.. Ее с Островов через море на материк увезли... большой начальник себе прикарманил... бездетный... тутошний, говорят... запомнила фамилию... ну, подвезло девице... теперь вырастет в холе, в тепле... есть будет с серебряных тарелочек, пить из фарфоровых чашечек... умываться молоком... Как – молоком?!.. А так, Глашенька глупая, очень просто, вот так!.. как господа хорошие умываются?!.. коровьим молочком да нашей кровушкой, а то еще, для свежести личика, и то и другое смешают – и ну давай морду тереть...

Да, Война!.. Только бы не на расстрел... Слышишь, кличут, строиться велят... Опять нам какие работы придумали... То заставят колья в мерзлоту вбить, то выдернуть прикажут... бессмыслица...

Да вся наша жизнь – Глашенька!.. разве ж не бессмыслица?!..

А Бог?!.. Он весь наш кромешный ужас видит – и что?.. молчит, кряхтит...

А может, родная, Он по-мужицки ругается... ведь торжников из храма Он как выгонял?.. стегал их плетью наотмашь, бил, пинал, гнал, ругал непотребно, в выраженьях не стеснясь...

Ох, ох!.. Ну ты скажешь тоже... Сморозила... Непотребно... У Него сладкий мед сокрыт под языком, а ты...

Не мед, подруга. Медом бы ты сволочь из храма не вытурила. Здесь зелье покрепче меда потребно. Много крепче.

– Вы!.. Стервы!.. Если хоть кто-нибудь из вас еще!..

Женщины, с топорами и пилами в обмороженных, перевязанных ветхими тряпицами руках, опустив головы, и простоволосые и в платках, а кое-кто и в подобьях зимних шапок, сработанных из ключев нищего повытертого собачьего меха, стояли молча. Молчанье страхом и гордостью обнимало безъязыкую рабью толпу.

– Если кто на работе порубит себе палец или руку – оставшихся выведу к морю... поставлю голых!.. прорублю во льду полыню и водой из проруби оболью!.. Все ледышками станете! Все!..

Молчанье надвигалось на оравшего грозно, как конное войско. Женщины не поднимали глаз. Сжимали в кулаках орудья труда – до побеленья, посиненья пальцев.

Недалеке от сгрудившейся бабьей толпы, на притоптанном желтом, как нажеванный воск, снегу лежала, нелепо, по-кукольному подвывернув ногу, девушка без шапки, без платка – ее густые, вьющиеся золотисто-русые волосы рассыпались по насту золотым зерном. Сознание покинуло ее. Запрокинутое к белесому небу лицо выражало детское удивление, не муку, не боль. Ангела подбили в полете. Ее откинутая от торса по снегу рука, кисть и запястье вспыхивали ярко-красным, страшным. Ладонь была вся в крови. Отрубленный безымянный палец валялся поодаль, за спиной девчонки. Молчанье женщин, сжимающих пилы и топоры, грозило перейти в неслышный, гибельный гул.

– Саморуб! – Надсадный ор надсмотрщика сотряс жгущий тысячько ледяных жал зимний воздух, еловые и сосновые стволы, валявшиеся меж сугробов, еще нераспиленные. – Снова

саморуб! Всех – изничтожу-у-у!.. Еще только раз!.. Очухается – заставлю пилить одной рукой!.. Дрянь такая!..

Мужик в овечьем тулупе, сытый, краснорожий, пнул носком хромового сапога лежащее без движенья девичье тело. Попал под ребро, в желудок. Девушка охнула и открыла глаза. Миг взгляд был белым, бессмысленным. Она подняла голову, испуганно, через силу села на снегу, отряхиваясь от налипшего, набившегося в волосы снега здоровой рукой.

– Да не сама она... – слабенький сердобольный голосок прорезал мороз, – я видала... это ей товарка топором саданула... несчастный случай...

– Несчастный! – Мужик зло скривился, сморщил нос, передразнивая издевательски защитницу. – Я те покажу несчастный! Живо все работать! И ты! Чего разлеглась тут... рас-селась! Ну!..

Он снова занес ногу для пинка. Девушка отшатнулась. На сей раз он попал ей сапогом прямо в грудную кость. Она застонала, согнулась, кашлянула и выхаркнула на снег кровавый сгусток.

– В лазарет метишь?! – Мужiku под ноги подкатилась большая пушистая собака, белая северная лайка, натасканная не на белок – уже на людей. – Разжалобить меня хочешь?!

Девушка, шатаясь, поднялась. Из отрубленного пальца хлестала на снег кровь. Она наклонилась, зажала рану юбкой. Глядела прямо в лицо вопящему. Ее серо-зеленые, с печальной прозрачной поволокой, длинные глаза внимательно смотрели на человека, умней и добрей которого застыла собака у его ног. Русые волосы вились вдоль лица. Комки снега, падающие с широких небес снежинки унизывали русые пряди, запутывались, таяли в них, теплых и нежных. Внезапно она улыбнулась. Надсмотрщик поперхнулся криком. С юбкой, зажатой в кровавый кулак, она шагула к мужiku, подняла выше голову и запела:

– Был у Христа младенца сад... Розы там красные горят... Ангелы пели там псалмы, там танцевали с тобою – мы...

Бабы с топорами попятились. Кто-то мелко закрестился. Кто-то взвыл: «Ой, Господи, родненькие!.. спятила... да от боли-то немудрено...» Невольницы выходили вперед, заслоняли сошедшую с ума спинами, локтями, ватниками, затирали, упрятавали вглубь толпы, ховали, как прячут дети тайный клад в земле на пустыре.

– Ну, ну!.. давай, давай отсюда... катись... начинаем работать... ты чай, не зверь все же, а человек... не пускай в нее пулю... она ж еще послужит... на Зимнюю Войну поработает...

Мужик сплюнул на снег и грязно, витиевато выругался. Бабы в бараках валяли валенки для солдатов Зимней Войны. Это был приказ Главкомандующего. Ослушаться его никто не смел в тюрьмах Всея Руси.

– Зачем ты палец-то отрубила безымянный?.. а?..

– Затем, чтоб на него никогда обручальное кольцо не надеть.

Русая девушка лежала лицом к сырой кирпичной красной стене, отвернув от людей голову, словно совсем одна, словно ничего не слыша. Ее спрашивали, тормозили, приносили пить, пытались перевязать обрубок – она молчала, не отвечала. Рот ее сжался подковой. Лишь когда ей в ухо шепотом крикнули: почему – безымянный?!.. – она вздрогнула и отчетливо выкрикнула, отчеканила: чтобы никогда...

– Да мы все тут, чай, невесты, поди, Христовы!..

– Да она и не сбрендилась вовсе, бабоньки, ежели так бойко языком чешет...

– Это она издевалась над ним... над Лысым Васьком-то...

– А вы знаете, дуры, ничего вы не знаете!.. что завтра корабль приходит с материка?.. и на том корабле... ой, вот побожусь... какие-то такие иноземцы... на нас поглядеть... как мы тут живем... может, еды нам привезут...

– А эти... псы... все расхитят, сопрут себе...

– А те иноземцы откуда?.. из Англии?.. из Франции?..

– Эх, и стран на земле... чудеса... и везде люди живут... и только мы здесь сами себя убиваем... грызем себе живот, ребра себе ломаем... хоть бы эти заморские дядьки поняли, где весь ужас-то и таится...

– Наши друзья по Войне, што ль?..

– Сегодня друзья, завтра – дивья... Тш-ш-ш-ш, бабы, – не шумите... Спит...

– Васек за саморуб слыхала што грозитя сотворить?!.. не уследили...

– Она и так сумасшедшенькая, эта Стася. Она себя знаете как раньше называла, когда сюда с этапом попала?.. – Царская Дочь, и не иначе!.. Мы все хохотали... А она волосенки взобьет, на нас сверху вниз глядит, как на вшей, червяков... по-французски лепечет... юбки задираала, кофты распахивала, нам шрамы показывала... все тело у нее, бабоньки, в шрамах, раны колотые, порезы, следы от пуль... крепко поглумились над нею... годы-то какие тяжкие... никогда не знаешь, где тебя смертушка ждет...

– Тише... Уснула...

Русоголовая не спала. Она лежала с открытыми глазами, и они прозрачнели и не моргали, ресницы не дрожали. Лошади так спят – с открытыми глазами. Лапка, перевязанная запачканным в золе польвованным обмахренным бинтом, лежала, как давеча на снегу – откинута, сиротья.

Собаки сновали по Острову туда, сюда. Собаки ощеривали зубы на людей, на скакивали сзади, хватали за икры, за пятки, упирались в людские спины лапами, валили людей на снег. Хватали за горло. Людское горло беззащитно и мягко; из него, если прокусить его, хлещет прямо в пасть теплая красная кровь. Человек – это тоже охота. Добыча. Человек – хозяин, и человек – дичь. Хозяин и дичь различаются. В чем отличие – трудно объяснить. Но оно есть, и оно очень простое.

Девушка с перевязанной рукой выходила из барака, бывшего ранее святой церковью, глядела на резко блестящий под солнечными лучами снег. Собака, наученная загрызть человека, не мигая, глядела ей в глаза. Девушка садилась на корточки, протягивала собаке руку. На девичьей ладони лежал кусок мятого, волглого, с опилками, ржаного хлеба.

– Ешь! – Голос девушки проникал собаке в душу. – Ешь ты, ешь!.. Ты такая злая, потому что и тебя вдоволь не покормят... голодом изморят, на людей бросаешься... У нас во дворце тоже были собаки... И у Таты была собачка любимая... Джемми ее звали... Таточка ее даже на животе, под фартучком, таскала... Ой, не надо... не надо мне вспоминать, собака... голова кружится... иди, возьми!.. я уже поела... на...

Собака осторожно подходила, веря и не веря. Утыкала нос в девичью ладошку. Рыча, хватала хлеб зубами. Отвернувшись, уходила. Завернутый на мохнатую спину крючковатый хвост дрожал на морозе от удивленья: человек-дичь, который боялся ее и бежал от нее, не боится ее, кормит ее. Зачем человек вытирает глаза и щеки ладонью, пахнувшей черным хлебом?

Гулкие, подземные удары барабана. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-там.

В каком из снов своих проснешься ты. Вид у тебя будет Адский, и наведешь ты ужас. Не будет у тебя ни бороды, ни усов, только несколько жалких волос на губах и подбородке. И глаза твои глянут, узкие, быстро и жадно вокруг. И голос, тонкий и острый, пронзит гаревой, дымный воздух, налетающий из степи. Ты будешь сложен прочно, как крепкий Дацан; ты будешь долговечен. Ты выступишь в страшном бою.

Войско шло, текло тремя огромными черными лентами по слепяще-белой заснеженной степи. Копья вздымались. Над конскими головами торчали вызывающе островерхие монгольские шапки. Войско слыло непобедимым; внушало ужас зверям, птицам и людям. Там, где проходили Чингисхановы тумены, оставались лишь развалины, коптящие, вздымающие дым, как баба – седые патлы, и обугленные трупы. Монголы умели воевать зимой, они не боялись мороза. Степной ветер выдул у них из сердец всю боль и жалость.

Текла черная река, разделяясь на три смертоносных русла. За спиной розовели на рассветном Солнце яркие, острые, как вздетые ножи или наверхия копий, голые горы. Впереди расстилалась великая степь. Женщины были одеты так же, как мужчины. Они принимали участие в битве. Нынче будет большой бой. Вон, вон оно, раскинулось, степное синее, под крепким, как панцирь, льдом, широкое озеро. Синий сапфир, упавший с небес. Во имя владыки нашего, Чингисхана, Темучина. Все в мире ему принадлежит.

Кони шли медленно, понунив гривастые головы. Приземистые кобылы тянули повозки, и грохотали пустынно и тоскливо колеса, везя скарб, старух и детей, рожденных в пути, все на Север, на Север. Верблюды тащили разобранные юрты. Конница катилась огромным языком черной горячей лавы, в руках у воинов дымились факелы, за плечами торчали из колчанов отравленные степные стрелы. Поверх выюков, наваленных на коней, были приторочены медные котлы. Воинам перед сраженьем надо было хорошенечко набить едой брюхо. Бешбармак, лепешки с мясом, пилав с жареным луком. Бабы должны потрудиться усердно. Многие не вернутся из боя. Будут на небесах, у самого Тенгри, кушать манты и каймак из жирных сливок.

Его теперь звали Кюль-Тегин. Конь под ним играл, то и дело вставал на дыбы. Лошади чувляли близкую кровь. Тумен, разделенный на три рукава, подтекал все ближе к Белому Полю сраженья. Воины сидели на конях, как влитые, напоминая каменных степных идолищ. Ни одного женского взрыда или плача – из телег, из укрытых холстиной повозок. Близко сраженья. Люди во все века сражались. Находили смерть в полях. Под пристальным, жестоким взглядом белого степного Солнца. Если он, Кюль-Тегин, победит, кровь победы смоеет весь ужас презренной, подчиненной и подобоострастной жизни. Величайшее зло на земле – подчиненье одного человека другому. Униженья. Гордость не терпит униженья. Обидчик должен быть убит. Брат обиделся на брата и убил его. Воин не перенес униженья от другого воина и застрелил его из лука на поединке. А если один народ обидит другой народ?.. Бастылы полыни торчали из-под снега, мотались на ветру, крученые поземкой.

– Хэ-то-э!.. Хурра!.. Хурра!.. Вперед!.. За славу Чингис-хана, Правителя Полумира!.. Возьми нашу жалкую кровь, Великий!..

Оттуда, из Степи, надвигались густые черные ряды врага. Конница у них могуча, помощней нашей будет. Да ведь мы их разобьем. Кони у них повыше ростом, не наши низкорослые степные кобылки. Костяк движется плечо к плечу, разведчики вольно рассыпались по степи. Снег, снег замедает их. Пока еще живых. О, что такое смерть, Кюль-Тегин. Не бойся. Сейчас ты узнаешь ее в лицо.

– Хэй-о-эй!

Свирители рожки, бухали громко боевые барабаны, там и сям стали раздаваться воинственные кличи. Воины подбодряли себя, разогревали застоявшуюся кровь, всаживали коням в бока колючие шпоры, хлестали по крупам длиннохвостыми плетками. Два войсковых шамана в высоких собольих шапках ехали на вороных лошадаках рядом с ним, косились на него. Кюль-Тегин, герой!.. Один шаман, с обвислыми седыми усами, вытащил из-под полы кожаного боевого одеянья бубен, ударил в него, заорал: Чубугань, Чубугань!.. три барса на небе, три полководца на земле!.. Чингис-хан, Джэбэ и великий Кюль-Тегин!.. Нам с ними счастье!.. Пусть голову отрежут китайским серпом, пусть русы проткнут ребра копьями и вилами, – три барса на загривках несут наше серебряное небесное счастье, и глаза зверей сверкают сапфирами, и в их честь потомки выстроят огромный нефритовый Дацан в поднебесных горах Шань-Лу!..

Три черных реки на яркой белизне приближались к одной широкой черной реке, и сверху, с гольцов, было видать, как черные рукава вливаются в широкое черное русло. Гул. Растет подземный гул; падает отвесно с небес гул небесный. Крики поднялись к небу, тонули в морозной синеве. Люди схлестнулись с людьми, и повозки опрокидывались набок, и медные шлемы валились с голов у нерасторопных воинов, сбиваемые вражьими мечами. Русы, вы сражаетесь достойно. Мы не будем вас брать в плен. Ни одного. Мы убьем вас всех, до единого. Мы спля-

шем пляску победы, разложим пир счастья на ваших костях, мы раздавим вас досками, а сами сядем на доски, сверху, все войско мое я усажу, весь тумен, и мы станем наливать в чаши вино и вашу белую веселую воду, и опрокидывать в глотки, и вопить радостно: о, сколько мы врагов положили в Белом Поле, не счесть. И еще положим.

Голубой стяг мелькнул в морозном воздухе, затрепал, забился на ветру. Княжий?! Золотом расшит... Кюль-Тегин рванул повод коня. Воины бились длинными, как бабья, по щеке, слеза, изогнутыми клинками. Лучше степных мечей во всем свете нет. Один удар – и ты перерублен надвое.

И вот тут-то женский крик поднялся из повозок! Женщины вопили, как бешеные, как с цепи сорвались – и монголки, вышедшие из самого Керуленского Улуса, отправившиеся в поход вслед за своими храбрыми мужьями, и захваченные по пути на Запад в плен чужеземки, и девки с волосьями, упавшими на плечи сырой нечесаной пенькой, и старые старухи, годные лишь на то, чтобы стряпать и мыть грязную посуду после трапез, – и следом за ними заблажили и дети, мальцы и огольцы, высунувшись из крытых холстиной и свежеедобранными коровьими и конскими шкурами кибиток, так завопили, так завыли – не хуже волков степных! Женщины и дети поняли, что началась битва, что бой начался. Бой – гибель; бой – кровь. Дети видели кровь впервые. Женщины умели останавливать кровь, перевязывать раны. Но женщины, в отличие от детей, знали: если вся кровь вытечет из продырявленного стрелой или копьем мужа, ему не помогут ни Алтас, ни Хубсугул, ни сам грозный великий Тенгри.

– А-а-а-о-о-о!.. – вопили женщины. – Пощадите!.. Помилуйте!..

А звать на помощь, взывать к неведомому помилованью было уже слишком поздно, бой начался, мечи, схлестнувшись, высекли друг из друга голубые искры, и пролилась первая кровь – короткий, будто обрубленный, как хвост охотничьей собаки, уйгурский меч вознесся над беззащитным лицом юноши-руса, рубанул, и вместо одной костяной чаши черепа стало две, и вместо живого лица – кровавый каймак, и то, что осталось на шее, содрогаясь в уже посмертных судорогах, меньше всего напоминало человека: это был уже житель Преисподней, безголовое чудовище Дучжи, у коего зубы находились на животе, а четыре ноги когтили тьму, и из тьмы, из-под когтей, сочилась черная кровь. Жертва! Тебе, Тенгри-хан! Тебе, непобедимый Темучин!

Мелькали блестящие стальные шлемы с густыми золотыми насечками. Богато снарядились на Войну, враги. Думаете, если золотыми да серебряными копьями владеете, а мы такие нищие, по степям мотаемся, как по ветру – хвосты кобылиц, вы, богачи, нас победите?! Звери ваши в лесах! Утки ваши жирные на озерах и прудах! Алмазы и рубины, сапфиры и перлы в княжьих сокровищницах ваших, в церковных ризницах, под крышами теремов! Девки ваши, с темным румянцем во всю щеку, с речными жемчугами в розовых мочках маленьких ушек! Все будет наше. Мы – ветер. Мы – вихрь. Мы – копыта и зубы, клыки и когти. Мы – мощь, мы – сила, мы – мужское грубое повеленье: на колени! Я возьму тебя. Я подчиню тебя. Ибо я – зубастый, страшный Лик Войны. Я только и умею, что воевать. И, воюя, я завоевываю все, что возжелаю.

Длинные аратские мечи и кривые бурятские клинки вздымались, высверкивали молниями в пронзительном, беспощадном свете зимнего степного Солнца. Фыркание взбешенных коней. Глухой топот копыт. Наезжай сзади!.. Руби!.. Тяжело раненные русы едва держались в седлах, вцепляясь побелевшими пальцами в конские гривы. С воплями отчаянья, ужаса, негодованья враги нахлестывали коней, пытались повернуть, а людской воды в черной реке войска прибывало, и наседавшие сзади не давали развернуться и ускакать раненым, и в гуденьи и мешанине боя свои рубили своих, родные проклинали родных, и в синем прозрачном колком воздухе висели проклятья – до седьмого колена, до двенадцатого, – и стрелы свистели над головами, и среди стальных шлемов вдруг глаз Кюль-Тегина ухватил – яркий, круглый, золотой. Владыка Тенгри!.. Кто выковал?!.. из какого слитка... Он натянул уздцы, подталкивая коня

поближе в гущу боя, к Золотому Шлему, он хотел подскочить ближе, увидеть лицо: князя... полководца?.. «Обернись! – просил он, сжав зубы. – Обернись, и я увижу твое лицо, прежде чем вздеть меч над твоей головой, и она откатится прочь, под копыта коней, в перемолотый степной снег, давясь своею кровью! Ну!..» Всадник услышал безмолвный вопль врага. Обернулся. Кюль-Тегин едва не крикнул. Светлые, огромные глаза-озера, серо-зеленые, без дна, наплыли на него, устроили, простили его, сняли у него с печени тяжелый камень прежних неотмоленных грехов.

– Князь!.. Князь русов!.. – выкрикнул он хрипло. Выхватил меч из ножен. – Иди сюда!.. Здесь смерть твоя!..

Воин в золотом шлеме направил коня ближе к вопящему монголу. Волчий род! А смерть будет собачья. Ты, хан, станешь моей собакой. И я буду кормить тебя старой обглоданной костью. Много чести тебе – умереть в бою. Ты хочешь оказать мне честь?! Кони давили копытами отрубленные кисти рук, ноги, наступали на грудь лежащим на снегу, пробивая насквозь хрупкие ребра под чешуйчатой медной россыпью кольчуг. Воин в золотом шлеме яростно закричал. Кюль-Тегин слышал хрипы его раздутых упоением боя легких. Видел бисеринки пота на лбу, на окровавленных щеках. Он не ранен еще. Это чужая кровь. Это кровь его родных по крови, его соплеменников. Он полон гневом и мстостью. Он не пощадит его. Копья русов опрокидывали монгольские повозки. Огонь и сера летели во вздыбленные кверху колеса, в порванные шкуры раскиданных юрт, в походный постельный скарб, мечи звенели о котлы, из которых воины хлебали гороховый каймак и молочный вкусный каймак. Женщины катались, валялись по земле, и волосы их облепливались снегом, тонули в снегу, и они окунали в снег голые красные руки, и вопили, кричали бессвязно о том, что вот уж больше никогда не обнимут мужей своих, не отдадутся им, не обласкают малых детишек, – они вопили, прощаясь с миром, и воины морщились в пылу боя угрюмо, воинам не надо было криков и стонов, они были заняты тяжелой работой, а бабий крик так мешал им, – и рослый арат развернулся на коне и всадил в истово вопящую раскосую бабу длинное копьё, пронзив ее насквозь, и она замолчала и захрипела, насаженная на древко, и острие вышло у нее со спины, и она дергалась на копьё, будто рыба на остроге, – и вмиг замолчали все кричащие женщины, они поняли, что их всех умертвят, если они будут сеять ужас и слезы в рядах сражающихся, а Кюль-Тегин все глядел на Золотую Голову, оскалился, показал все зубы, и слюна стекала у него из углов рта, и ему казалось, в приступе боевой ярости, что у него изо рта выскакивает, вылетает огонь, языки огня.

В кулаках русов крутились булавы. Копья летели сквозь крошево битвы, поражая насмерть, пронзая запросто искусно сплетенные из стальной нити защитные кольчуги, оглушительно звенели, ударяясь о кованые выпуклые доспехи, напаянные монголами и русами под простецкие шкуры, под роскошные, вышитые яхонтами княжеские далматики. Русы рубили монголов, те падали с коней, и воины подбегали к свободным от всадников лошадям, взнуздывали их, захватывали, вскакивали на них, взбирались, ударяли пятками в ребрастые конские бока, гнали перед собой обезумевших от боли, израненных, исколотых копьями степняков, – а из белой снежной степи наперерез неслась новая конница, и врезалась в черный орущий клубок бьющихся, и разделила его надвое, и узкоглазые воины заработали мечами, и длинными и короткими, кривыми, сбивая наземь дерзких русов, сея красную смерть направо и налево, сшибая головы, как крестьянин на Керулуне срезает серпом молодые побеги остро пахнущего лилового лука, – и в средоточье битвы поднялся великий вой, завыло по-волчьи, загудело огромное зимнее пространство окровавленной степи под морозным безликим Солнцем, и коршун уже летал над сечей, кружился, высматривая поживу, и люди, раненные насмерть, вздымая на конях руки, падали, валялись друг на друга, словно хотели обняться, словно в последнем предсмертном порыве желали крепко обхватить друг друга, любовно и прощающе, и утыкались лицом в лицо друг другу, уже мертвые, уже остывающие на скаку, на лету, – о, так прекрасно

умереть на лету, Золотая Голова, ну, иди же поближе, и мы вот так же взмахнем мечами, и вот так же, как эти простые воины, повалимся друг на друга, чтобы обняться нерасторжимо. Иди! Я убью тебя!

Мимо Золотой Головы просвистел топор на длинной рукоятке. Его метнул один из русов. Князь еле успел увернуться. Кюль-Тегин захохотал. Это мое дело! Ты погибнешь не от руки своего смерда – от руки высокородного полководца, ведущего свой род от самого...

Он не успел додумать. Он поглядел с коня вниз. Те русы, у кого монголы выбили из рук оружие, но не смогли убить, сражались голыми руками. Это было страшно. Ни ножа, ни копья, ни лука со стрелами, ни булавы, ни меча – а лишь одни голые руки, выпачканные в крови, протянутые вперед, словно для благословенья или для объятья, одни беспомощные человеческие руки, а поверх рук – яростные белесые от последнего отчаянья глаза, кричащие: вот мои руки, и вот я, и я сражаюсь до конца, и я убью тебя, враг, и я погибну, ведь ты сильнее, ты вооружен, но человек сражается не только оружием, не мечом и копьем бьется он, а глазами своими, а волей вскинутых рук, а сумасшедшей, неистовой, посмертной волей своей. О русы! Сумасшедшие! Великие сумасшедшие! У вас такая же горячая, безумная темная кровь, как у нас. И вы живете, как и мы, в степях. И вы ставите грады по берегам больших рек. И вы покрываете своих жен в ваших шатрах, как и мы же тешимся ими. Так чего же мы с вами не поделили в этой беспечной, жестокой Зимней Войне, что Чингис-хан ведет вот уже невысказанно сколько времени, от начала времен?!

– Хурра, Золотая Башка!.. Гляди, как я тебя снесу!.. Одним ударом!..

Ты помнил, Кюль-Тегин, как возвращались из боя монголы Тохучара. Как гнали они перед собою богатую добычу – быков, коров, визжащих девиц, закованных в цепи, катили телеги, полные добра – шкур и оружия, мехов и дорогой утвари. Гляди, с Севера, с гор, надвигаются серебряные густые облака. Гляди, как блестит, укрытое голубым льдом, круглое степное замерзшее озеро, синий небесный Глаз. Мы тесним русов к Озеру. Они ступят на лед и провалятся – перед весной на степных озерах лед хрупок, воины пойдут ко дну, ледяная вода обнимет их, рыбы будут выедать им белые, выпученные от страха глаза. Утонуть – бесславно: это не то, что погибнуть в бою. Мы утопим вас. Ты, Золотая Башка! Берегись!

Меч просвистел. Обрушился – всю тяжестью. Золотой шлем зазвенел. Клинок отскочил, как отброшенный незримой тяжкой дланью.

Кюль-Тегин прокричал страшное уйгурское проклятье. Золотая Голова пошатнулся в седле. Глаза его, озерные, пронзительно-светлые, глядели по-прежнему ясно и спокойно, будто он парил над схваткой, будто не трясся на ошалевшем от ужаса, храпящем коне, с вытараченным сливовым, косящим оком, в сердцевине смертного боя. Он поднял перед Кюль-Тегинем левую руку, обтянутую чешуйчатой стальной перчаткой, и произнес слова на своем тарбарском, преисподнем языке.

Он тоже прокликает меня!

Нет. Я тебя не проклинаяю. Я тебя заклинаю. Я неуязвим. Если ты даже располосуешь меня, разрежешь на две половины, как царь Соломон повелел разрубить ребенка, за коего боролись две матери, – и тогда я воскресну; я настоящий Царь; я заколдован звездной короной, горящей ночами над снежной степью. Я призываю тебя к любви. Посреди дикого боя – среди криков – смерти – крови – проклятий – зову к любви. Можешь оглохнуть. Не слышать. Не отвечать. Можешь снова натянуть тетиву, выпустить в меня стрелу. И просвистит лишь Тень Стрелы Отца. Она пройдет надо мной, над моей головой, и попадет в звездного Песца, в ночного золотого Тарбагана. Ты теснишь нас к Озеру! Там мои воины найдут покой. Но и твои тоже. Мы два полководца. Мы ошиблись, поставив на смерть. Жизнь не завоеешь ценою смерти. Гляди, Солнце, оно золотое. Оно – мой Шлем. Я дарю его тебе. Я люблю тебя.

А глаза его, пока он говорил это на непонятном Кюль-Тегину языке, горели ненавистью.

Конь монгола попятился. Неужели я буду жить в иных веках?! Я не хочу. Я рожден сегодня и умру сегодня. Врешь. Мир устроен так, что ты кочуешь из времени во время. Из земли в землю. Ты же знаешь это. Ты исповедуешь такую веру. А ты... исповедуешь кого?! Я исповедую свою любовь. Дешево же стоит твоя любовь, поганец княжий! Ради жизни – тьмы людей погубить?!

Он и Золотой Шлем разом, вместе, не сговариваясь, взмахнули мечами и содвинули их – две голубые молнии. Монголы продолжали теснить русов ко льду Озера. Сквернословя, плюясь, отдуваясь, отирая кровь с усов, щек, ртов, шей, зажимая голыми руками зияющие раны, хватая ладонями хлещущую на красно-белый снег кровь, оба схватившихся не на жизнь, а на смерть войска медленно, пядь за пядью, отступали к неистово сверкающей гладкой сини Озера, лежащего ледяным блюдцем на камчатном покрывале чистобелой заснеженной степи. Скатерть снега была лишь кое-где прошита волчьими следами. Волк, бедная степная собака. Ты будешь выть нынче ночью над убитыми, подняв морду к старухе Луне. И собаки монгольского войска, что останутся в живых после битвы, придут на поле боя, усеянное трупами и умирающими, ранеными вояками, и женщинами, лежащими навзничь на снегу, с распатланными, разбросанными по снегу черными, как гривы кобыл, волосами, и жалкими, скорчившимися на морозе трупиками детей, невесть для чего рожденных в долгом зимнем, жестоком пути, – закинут усаые морды в зенит и завоюют, вторя волкам; и так будут выть, по обе стороны убитого боя, степные собаки и собаки человецьи, понимая души, ушедшие в небо по неведомой воле, и будет свистеть и петь над головами волков и собак Тень Стрелы Отца, пропадая, исчезая в черной, высокой небесной сини.

– К Озеру!.. Под лед их!.. Под лед!..

Людское перекаати-поле, сшибаясь, сминаясь, вопя, поражая, катилось все ближе и ближе к ледяному круглому зеркалу. О, богиня Ай-Каган, небось, глядит в него со страшной высоты по ночам. Это ее серебряное зеркало. А груди у нее налиты серебряным лунным молоком; ведь она Царица Луна, ведь она Старуха Луна, вечно рождающая молочные звезды, и, если к ней, пред ее светлые очи, явится Гэсэр-хан, маленький тщедушный старичок, и попросит у нее водки, она, наклонясь с небес и жестоко хохоча, даст ему старой бабьей шутейной водки – свесит вниз белые, сияющие молочные груди и прокричит: «Пей!.. Пей, если достанешь!..» И Гэсэр-хан станет прыгать до небес и не допрыгнет, и тогда Ай-Каган сольет ему лунного молока на затылок, на лысину, а вслед молочным каплям пустит стрелу с серебряным наконечником – яркую звезду Чагирь. И упадет Гэсэр-хан, сраженный насмерть, и улыбка застынет на его устах. Гэй! Гэй! Хурра! Вперед! Мы почти победили их! Утопим их! Утопим подо льдом!

До ночи мы должны кончить сраженье!

Каша из людей, коней, копий, стрел и мечей докатилась до берега. Первые воины ступили на лед, обнявшись в рукопашной, покатались по льду, и вдоль заберега пошли, зазмеились ломаные синие, темные трещины – лед раскалывался под тяжестью облаченных в доспехи тел, вода выступала на изрытую Солнцем ледовую амальгаму из широкой, расступившейся подводными Царскими Вратами полыньи, заливала сапоги, щиколотки дружинников, вбирала, всасывала в себя, вглубь, внутрь, в тайну, в смерть, и широкие ледяные плахи трещали и кололись, и торосы вздымались к синему небу, играя и сияя радугой ледяных сколов, и бойцы хватались за ледяные мечи, изранивая руки, крича, уходя под воду, ловя последний воздух белыми перекошенными ртами, – так умирали и те и другие, и монголы и русские воины, и, погружаясь под воду, они в отчаяньи обнимались, они хватали друг друга за плечи, прижимались грудь к груди, лицо к лицу, они плакали, искали друг у друга на груди защиты – и тонули оба, крепко сплетясь, крича в степной мороз проклятья, звучавшие, как слова любви.

Золотой Шлем ударял клинком о клинок Кюль-Тегина. Мы с тобой жили когда-то, Кюль-Тегин, на земле?!.. Жили, не сомневайся. Мы дрались вот так же?!.. Дрались. И еще жесточе. Так зачем же бессмысленный круговорот времен, войн, судеб?! Какую цель преследовал Бог,

сотворяя нас – Христос ли твой, твой ли Будда, пустынный ли Аллах, во имя коего сумасшедшие дервиши сжигают себя на дорогах, на шляхах, в заброшенных старых банях?!.. Если мы рождены без цели – тогда... зачем?!..

Не рассуждай. Молчи. Бейся. Биться – это все, что осталось нам. До первой крови. До твоей – или моей – смерти, так похожей на любовь: закроешь глаза – и сладость, и покой забыть.

Синие клинки скрещались, звенели дико, вызванивая бесцельный, тяжкий ритм. Танец клинков убыстрялся. Дело надо было кончать. Солнце поднималось все выше над степью, озаряя прозрачные, пустые глаза мертвецов, гладко блестящие, жирноволосые затылки арапов, островерхие шлемы русов, куньи и соболю шапочки монгольских нойонов. Полководцы бились, и бился на льду Озера народ, и народ бился с народом, и честь билась с честью, и жизнь билась с жизнью. Лед трещал и подавался. Полынья разрасталась, в нее ухали уже всадники вместе с конями, и кони, пытаясь выбраться на сушу, скребли синий лед копытами, дико и жалобно ржали, глядя прямо в глаза непокорным людям: зачем вы нас так?!.. куда вы нас?!.. сжальтесь... Конское предсмертное ржанье стояло и висло надо льдом, звери умирали, вздрагивая, раздувая ноздри, плача крупными слезами, кладя ноги на рушащийся, крошащийся лед, и бойцы в отупеньи побоища хлестали их плетью, будто гоня скорей на дно, и в немислимой свалке обезумели все – и кони, и люди, и нойоны, и князья, и щитоносцы, и лучники, и иглистый морозный воздух был прошит отборной руганью и долгими, как вся жизнь, криками, и с криком, выходящим из нутра, из средоточья жизни всей, люди уходили под лед Озера, и Солнце сверху глядело на битву, усмехаясь всеми лучами, протыкая несчастных бесцельными белыми льдистыми копьями, освещая все – и грязь, и ужас, и кровь, и героизм, и колотую рану в боку юного монгольского барабанщика, далеко отбросившего свой обтянутый телячьей кожей, обшитый красными шелковыми кистями и золотыми бляхами в виде бычьих голов военный барабан, и барабан оказался на воде, и он не потонул, он же был деревянный и кожаный, он плыл, как лодка, а барабанщик с раной меж ребер лежал, подвернув под себя ногу, как будто танцевал ехор, на синей пластине колышащегося на воде льда, и в кулаке он сжимал палочку, в другом – другую, будто хотел ударить, и плыл его драгоценный барабан, и монголы больше никогда не пойдут завоевывать иные земли под этот четкий, сухой и дробный стук: там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-там, – это сердце стучит, это сердце пустыни, сердце степи, сердце наших родных гор, и кто здесь враг, а кто друг, знать никому не дано, лишь Тенгри: там, в облаках. Бей, Золотая Голова! Что-то долго мы с тобой бьемся! Равные мы соперники, значит!

Русич воздел меч и с силой, снизу вверх, ударил. Лезвие вошло точно под ключицу, туда, где у живого бьется сердце. Кюль-Тегин успел лишь вздохнуть и улыбнуться. И пробормотать несвязно, благодарно:

– Отличный удар... редкий удар... я вижу небо... синий сапфир... я вернусь... я возвращусь, там, далеко... в вышине...

Князь в золотом блестящем под Солнцем шлеме смотрел пристально, молча, как медленно валится с коня противник, как хватается за конскую холку, цепляется грязными земляными ногтями за сбрую, расшитую крупной саянской бирюзой и лазуритами, как вылезает из орбит его узкие, будто рыбы уклеики, бешеные глаза, а потом желтая складка век закрывает их, и они гаснут, и жизнь утекает из него – так стекает расплавленный воск вниз по церковной свече.

Он перевел дух. Огляделся. Его воины тонули, уходили под лед. Озеро раскрывало им объятия. Монгольские повозки горели на морозе, черная гарь и золотые конские хвосты огня летели по ветру. Свист стрел над головой звучал все реже. Люди убили друг друга. Люди могли торжествовать. Не победил никто.

Те, кто остался в живых, могли уползать с Белого Поля, истекая кровью, прочерчивая на снегу животом, локтями, бессильно обвисшими ногами змеиный, нечеловечий след; могли молиться обветренными, помороженными ртами, кусая снег – пить хотели, хватали кровавый снег губами, зубами, – всем Богам, коим молились их деды и прадеды; могли тихо сжаться в комочек, застыть, не шевелиться, со всем проститься. У всякого, оставшегося в живых после битвы, был выбор.

Лед трещал, расходился. Льдины отползали друг от друга. Со дна на поверхность черной воды подымались пузыри. На берегу валялись сотни искалеченных тел. В воздухе пахло кровью, сладкой горелой человечинной и кониной, разлитым из кухонных походных котлов каймэ.

Князь в золотом шлеме, сидя на коне, глядел на мертвого полководца.

– Ты воскреснешь по вере твоей, – тихо сказал он разбитыми в бою губами и слизнул запекшуюся кровь. – И я, твой враг, воскресну вместе с тобой. Но мой Бог милостив. Он делает меня в жизни будущей твоим другом. Друг. Враг. Ежели бы мы, люди, еще знали, доколе будем убивать друг друга. Свою землю от набега я защитил ли?! Ты, сражавшийся со мной, своих детей от бесславной смерти в бою уберег ли?! Что делаем мы, люди... Что мы делаем... что творим... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного...

Он наклонился ниже с коня, и его вырвало прямо на труп поверженного врага – от сладких запахов горелого человеческого мяса, от вида неистовой многорукой и многоглазой Смерти, восставшей над убитыми в белом ледяном саване. Утерев рот, он горячо, сбивчиво молился – за себя, за жену, за дочерей, за сына, за жизни всех подданных, всех рыбаков и лучников, земледельцев и гончаров, и по его скулам текли мелкие, как рыба чешуя, слезы. Ему брехал один багатур, умевший складывать русские слова, что Кюль-Тегин был жрецом Золотого Будды, сидящего в зимних горах с Третьим Глазом во лбу. Третий Глаз драгоценный; синий, яхонтовый. Вот бы добыть его для княжьей короны. Дочке бы на темечко надеть. Чтоб его земля славилась небесным светом. Чтоб не его, не его Бог...

Он молился, губы его шевелились, испачканные сукровью, как брусничным, вишневым ли соком, и конь его присел и, кося безумным глазом, помочился на снег, и пар завился над хвостом, и со льдин, расплывшихся по вскрытой воде Озера, доносились последние крики замерзающих, тонущих воинов, еще живых.

Он протер глаза и вскочил с жесткого солдатского ложа.

Они ночевали в хибаре, пышно называемой казармой. С ним вместе располагались на ночлег еще два десятка солдат, и по ночам они дико храпели, и они сильно, невыносимо завидовали ему, что у него была Кармела, и что ему было куда скрываться на ночь, да еще глотать такую забытую сладость. Он, после дня Войны, валился на железную койку и дрых, как убитый. Почему он вскинулся, как петух на насесте? Что привиделось ему, – горло перехватило петель, перед глазами полетели красные, золотые круги, вихри, копьё?.. Копье... копьё света... свечи, много зажженных, дрожащих, истово горящих свечей... Звездные оранжевые, медовые скопления пылающих свечек и свечечек, малых, тонких, коричневых, зеленых, белых, восковых, золотые тающие во тьме огоньки... Огни... Много свечных огней... Где он был во сне?.. Почему они горели меж его тяжело дышащих во сне ребер?..

Огромные, темные, тяжелые доски. Квадратные, прямоугольные; вытянутые, как худое тело, вверх, и распахнутые вширь, как громадные черные озера. Во тьме, в глубине расходящейся под копьём взгляда тьмы – как в черном торфяном озере – лица, лица, лица. Лики, смуглые, загорелые. Лбы, перевязанные платками. Обрубленные Божьим топором скулы, носы. Вот кулаки, они торчат из мрака: крутые, тяжелые, мощные, и в них зажат то молот, то прялка, то – да, он не ошибся – черный, поблескивающий маслено наган. И над лицами – надо лбами – окутанные хлебным маревом теплого, источенного живыми червями и юркими мышами Времени – из черной волглой тьмы – из смоляной, мятной, сажевой мглы – нимбы: и их золо-

тая, непереносимая яркость бьет по сердцу неистойвой радостью. Золотые кругляши! Золотые пироги! Блюда золотые – во весь темный, мрачный поминальный стол! Вы же умерли. Вас же похоронили. А нимбы?! Ты же видишь нимбы! Мы живы. Мы в темном небе. Мы – на черных досках, и ты нас сам намалевал, написал. Но я же не художник! Я же простой солдат! Солдат Зимней Войны!

Во сне своем он стоял перед огромным, как ночное небо, Иконостасом в неведомой, погруженной во тьму и черноту древней церкви – он никогда особо не ходил во храмы, не молился, разве что после первого боя, когда их сразу же послали штурмовать Дворец, он молился о пуле, о последней пуле, но эта молитва была не в счет. Он никогда не постился... не соблюдал обряды... ну, разве что свечку в церкви ставил, за здоровье либо за упокой, ведь тогда, когда он еще жил в мирном мире, люди вокруг него, бывало, тоже умирали, и он шел и ставил свечку в церкви, где все пела в хоре одна такая малорослая, хорошенькая светленькая девочка, с русыми русалочьими косами до пят, он заглядывался на девочку, а она на него, она разевала прехорошенький ротик и ради него, молодого балбеса, дурака-прихожанина, брала самую высокую небесную ноту, а регент сердился. А здесь... во сне...

Громады черных досок с фигурами плыли, качались перед ним, как тонущие в северном море лодки. Шли корабли высоких икон, и золоченые, темные оклады мигали, как маяк на грот-мачте и бортовые огни, всеми грубо обточенными изумрудами, всеми яхонтами и сердоликарами. Задери голову, Юргенс! Верхний ряд... они плывут... они поют, ты слышишь... Это праотцы твои. Они родили тебя, твою плоть и кровь. Ты их потомок. Ты вышел из их чресел. Ты их забыл. Может, их убили тогда, там, давно, на ТОЙ Зимней Войне. И снег падал на их лица, еще без нимбов, простые и страдальческие, и их исхудалые руки сжимались в священные кулаки. И женщина, стоявшая в снегу, широко крестила их. Вон, вон она, во втором, пророческом ряду, под ними. Рот ее раскрыт. Волосы разметаны. Вьюга взвивает ей косы. Она кричит. Что?! Не разобрать. Она сумасшедшая. Она пророчица. Все сумасшедшие – пророки. Все, что она кричит, – сбудется.

А там?! Кто – там?! Это... Он. Его мешок на плечах дырявый. Глаза раскосы. Он совсем не Бог. Он просто маленький бурятник, а вокруг Него, из тьмы, выступает, налезает на Него огромный Город – углы, трещины, стены, фонари, подземья, снежные ветви, – и Он кричит: «Армагеддон!.. Армагеддон!.. Ты погибнешь!.. В тебе, в тебе последнее сраженьё!..» Он – тоже пророк. Его имени не упомянешь. И ниже, ниже, под ним, под его босыми ногами, скрещенными на снегу, красными от мороза, – праздник: красивые девушки, плечи их обнажены, они все в бальных платьях, они танцуют, и одна прищурилась, у нее косая челка летит со лба вон, в темень и мрак, и снег жемчугами путается в прядях, и в руке у нее маленький револьверчик – ах, стервоза, красotka, может, ты и есть Смерть сама, чего ж ты затесалась в компанию святых, чего ты здесь-то празднуешь, собака, – и среди девиц стоит на черной лаковой доске одна, Одна-Единственная, и ты прижми руки ко рту, и сдави свои ребра, чтоб больше не дышали, не вздымались: золотые пряди заколоты на затылке драгоценной булавкой, кружева текут, лаская ключицы, вдоль нагих алебастровых плеч, вокруг мерзнувшей, в голубоватых и розовых тенях, голой спины, и серые, насквозь прозрачные, как северное море, глаза отворены ему, и ему позволено глядеть в них, и рука трепещет, силится оторваться от черной яичной глади древней доски, рвануться к нему, погладить по щеке... вот ты, мой свет. Вот вся моя жизнь. И в спутанных, как вся человечья жизнь, русых, пшеничных волосах горит, излучая радость и синь, огромный сапфир, наверно, из Царской сокровищницы: все тайны теперь обнажены, все сокровища разрыты, – так чего ж и нам Царские бирюльки не напялить, не поносить?! Глаза девушки раскрываются шире. Ты ничего не понял. Бедный. Это мое. Это навсегда мое. Я желала... я хотела...

Там, во сне, он поднял руку и коснулся ее нарисованной на праздничной иконе нежной белой, как лепесток белого тюльпана, руки. Он ощутил холод застылой температуры, ледени-

стость сусального золота. Надо лбом у девочки с сапфиром в волосах сиял яркий золотой нимб. Он парил отдельно, как золотая лодка, как Рождественская золоченая ореховая скорлупа. Под иконой Праздника, вколоченной в Царские Врата бредового Иконостаса, он сумел различить, прочитав воспаленными от постоянных боевых прицелов глазами: «СВ. ЦЪСАРЕВНА АНАСТАСІЯ».

– Переоблачайся!.. Надеюсь, тебе слуга не понадобится.

Толсторожий, дюжий детина, с огромным, мелко ограненным рубином на сосисочно-раздутым пальце, швырнул ему в руки ворох цивильной одежды. Мирная одежда. О, как давно... Синие, яркие, как небо над горами, штаны. Красивая, просторная рубаха. Ворот с медными, модными пуговичками, стильный. Широкий, столь же просторный пиджак. Подкладка пахнет лавандой и чуть – морской водорослью. Если б еще, Боже, побриться как следует.

– А ты недурен. – Толстяк хохотнул, оценивающе прищелкнул пальцами. – Теперь попрошу выйти к столу. Господа генералы заждались. Тебя ведь Юргенс зовут?.. – Он кивнул, оглаживая на себе новую, странную после гимнастерок и портупей одежду. – Мы тебя поиному окрестим. Готовься... к постригу.

Толстомордый бугай бесцеремонно взял его за локоть и впихнул в щель массивной, с лепниной, двери, растворенной в ослепительный свет, густой табачный дым, блеск перламутрового фарфора за стеклами буфетов, гул, мурлыканье радиомузыки и голоса, голоса. От слиянья и скрещенья голосов кругом шла голова. Он схватился за край стола, чтобы не упасть – аромат восточных курений ожег его раздувшиеся ноздри. На него воззрились десятки глаз. Обведенных бессонными черными кругами. Окутанных рыболовной сетью морщин. Нагло смеющихся. Испытующе вонзающихся ему в бледное лицо. Молча говорящих: парень, победа или смерть, а остальное – окуроченный у тебя под чугуновой кованой пяткой.

Человек с широкими зализанными залысинами, с серо-стальными жесткими немигающими глазами, дородный, в генеральском мундире, сидевший ближе всех к нему за уставленным яствами, пепельницами, свечами широким столом, шумно вздохнул и поманил его пальцем к себе: ближе, ближе подойдите, наклонитесь, мне трудно громко говорить, орать, я вам скажу важное. Он подошел ближе к столу. Другой запах опьянил его – запах пирога с рыбой. Он так давно не ел пирога с рыбой. С самого детства. А детство его прошло на большой широкой реке, по весне с треском и грохотом ломающей синий лед, и рыбаки тащили из-под льда стерлядей, окуней, а то и огромных сомов, и мать заворачивала, затаскивала в печь широкие, как этот генеральский стол, пироги с сомятиной. Ах, генералы. Отрезали б кусок! Да он не попросит. Легче умереть, чем просить. А они и не угощают. Глядят на мою выдержку. Проверяют. Слабак ли я. Сдюжу ли. Ведь они прекрасно знают, что за дерьмо мы жрем на Войне.

– Ты нам нравишься, парень, – процедил лысоватый дородный генерал, и жирные щеки его слабо, самодовольно дрогнули, и улыбка зазмеилась вдоль узкогубого, розового от еды рта. – Тыходишь нам по всем статьям. Если Жирный Марко не врет, ты владеешь приемами тайных восточных единоборств. Полковник Исупов... – Генерал закашлялся, и ему подобострастно поднесли салфеточку на перламутровом блюде. Он вытер губы, оглядел стол жесткими, стально сверкнувшими выпуклыми, как у совы, глазами. – Полковник Исупов рассказал мне многое о тебе. Я верю и Марко, и Исупову. Мы не будем тебя проверять. Мы выше мелких проверок. Мы дадим тебе задание, и тебя проверит на прочность сама жизнь. Ошибешься – дело твое. Мы найдем другого... половчей.

Он стоял и слушал. В голове гудело, плыло. Вертолетный назойливый гул клочкотал в затылке. О этот запах свежей, жаренной с золотым луком, рыбы из взрезанного пирога. А человеческое тело, бедное, запеченное в Божьей печи, тоже можно взрезать. Раз – и вспороть брюшину. А там – о, там невкусно. Лиловые кишки, розово бьющиеся кровяные сгустки. Да, так. Представляй себе гадость человеческого нутра. Ты расхочешь есть. Расхочешь. Расхочешь.

Генерал медленно, лениво вытянул из кармана фуляр и отер заблестевшие дождевыми капельками пота зальсины, не сводя глаз с Юргенса.

– Тебя зовут Юргенс?

Он кивнул. Только бы не упасть. Живот втянут, желудок присох к хребту.

– Так точно.

– Перестань долдонить военные ответы. Ты же теперь светский человек. Тебе нужно нацепить другое имя. Тебя могут узнать в широком мире. А нам надо, чтобы тебя не узнали. Эй, Люк! – Генерал попытался повысить голос и тут же охрип, и опять услужливая рука поднесла ему на черном подносике рюмочку с лечебным питьем. – Дьявол, голоса нет совсем. Люк, у нас в Ставке сейчас есть парикмахер?.. нам бы остричь этого пса, убрать бороду, длинные волосы... он похож на волка, чистый волк... нужна короткая стрижка, под машинку, и никакой бороды... все нащечные шрамы обнажить... пусть ими кичится перед мирными девочками...

Тот, кого называли Люком, бесшумно вырос за генеральской спиной, как привиденье. Вот кто был выбрит досиня, выстрижен долыса. Сизый от нашитых мелких брильянтов галстук-бабочка мотался и дрожал у него под двойным студенистым подбородком.

– Я привез из Парижа лучшего куафера, прямо на Елисейских Полях отловил. – Крючковатый нос Люка дрогнул от гордости и удовольствия похвастаться. – Стрижет людей лучше, чем стригаль – овец. Достоин стричь королей... и вас, – владелец бабочки склонился в почтительно-насмешливом поклоне перед генеральским креслом. – Обкарнают вашего протеже не глядя, наощупь...

– Заткнись! – Выброс руки генерала в сторону надменного хлыща напомнил Юргенсу взмах красного сигнального флажка на снегу. – Ты хоть знаешь, что тебя обяжут делать?

Он глядел в глаза генералу. Он понял его глаза. Они были полны до краев грусти. Печаль плескалась в них, в жестких, как две стальные пуговицы, непроницаемых глазах. Внезапно Юргенс понял. Погрузил копьё взгляда глубоко. Чужой человек. Генерал Зимней Войны. Высоко, высоко поставлен небом, землей, людьми. А на дне человека – стынет печаль. Стынет, застывает, холодеет. А человек еще живой. Еще дышит. Улыбается. Рассуждает. Борется. Отдает приказы.

Господи, как пахнет разрезанным рыбным пирогом, жареной корочкой.

– Я готов ко всему, господин генерал.

– Ты такой послушный солдат?

– Я послушный солдат, господин генерал. Мне нечего терять – ни на Войне, ни вне Ее.

– Ты знаешь, почему идет Зимняя Война?..

Вопрос генерала повис в тягучем табачном обеденном воздухе, обвелся кругами и узорами белесого и кудрявого дыма. Дым застил лица обедающих, закрывал бредовой пеленой от Юргенса рты, тарелки, рюмки, выраженья смеющихся, оскорбляющих, швыряющих снопы искр глаз, заволакивал все происходящее серой пахучей пеленой. Табак. Люди курят табак. Эх, накуриться бы сейчас с Кармелой. И – в мешки. И забыться. И лишь одна решетка на окне. И месяц, желтый коготь монгольского месяца за решеткой. И они в сладкой тюрьме. В тюрьме любви.

– Зимняя Война идет всегда, господин генерал. Она необъявленная и без видимых причин. Она идет, значит, так надо.

– Кому?

Острый нож вопроса был метко и жестоко брошен прямо в него. Только не вытаскивай нож, Юргенс. Не вытаскивай. А то истечешь кровью и сдохнешь.

– Воюющим сторонам, господин генерал.

– А надо ли это воюющим сторонам, парень? Не лучше ли прекратить страдания и осуществить замирение? Зачем ты здесь? Зачем все мы... – генерал захрятел и отер ладонью пот с губы, – ...здесь?..

Он засадил нож еще глубже.

– Зимняя Война берет на себя, на свою шею страдания остального человечества. Чтоб у них было счастье, а мы тут гибли, как мухи. – Он облизнул губы, глубже вдохнул назойливый, щемящий, как детство, запах пирога. – Простите, господин генерал. Я не муха. И вы не муха. Мы никто не мухи. Мы люди, и мы воюем. У нас есть враг, и мы воюем. Таков закон.

– Кто выдумал такой закон?!

Генерал резко встал, с грохотом отодвинув кресло, откинув его прочь от изысканно сервированного стола, и кресло упало, задрвав собачьи когтистые лапы. Он обводил вылупленными, враз бешено побелевшими глазами бросивших жевать и бормотать людей. Его пальцы, сухие, длинные, со вспухшими подагрическими суставами, мяли и крутили белую бахрому роскошной скатерти. Вот пальцы захватили чуть побольше мятой скатертной камчатной ткани, и рюмка пошатнулась и опрокинулась, и красное вино вылилось на скатерть, на снеговую белизну. Юргенс глядел остановившимися глазами, как красная кровь течет, течет на белый алмазный снег. Как снег, морозный, выставший, впитывает ее, вбирает, как губы мужчины вбирают женские губы – в себя, глубоко.

Глубже, глубже всаживай нож. У тебя другого выхода нет.

– Закон не выдумывают, господин генерал. Закон был всегда... от Сотворенья Мира.

– Всегда?!

Сколько ярости выплеснулось в человеческом крике. Вопль. Как он огромен. Как перекопился, брызгает слюной рот. Юргенс глядел прямо в рот генералу, там у него недоставало зубов – а передние блестели золотом, а на нижних темнел поганый налет, зубной камень. Тщедушный, смертный человек. Облеченный властью. Это он – помавал рукой, вытягивал палец, и сдвигались льдины, и шли войска, и артиллерия вздымала смертоносные стволы в небо без дна, и нацеливались пушки и ракеты, и дрожали в лафетах орудья, и строчили пулеметы, прошивая насквозь все живое огненными, летящими, как золотые женские косы по ветру, бешеными очередями?! Он повелевал земным ужасом. Он владел жизнями и смертями людей. Кто дал ему ЭТУ волю?! ЭТУ власть?! За что ему такая привилегия... ТАКОЕ владенье чужими судьбами, телами, реками чужой крови?! Разве он, со старческими залысинами, с распухшими суставами, – Господь Бог, чтобы низвергать царства, одно-единое Царство Одной Жизни?!

Он скосил глаза. Пирог блестел старым золотом в ослепительном свете увитых кружевами дыма хрустальных ледяных люстр.

– Всегда.

Он не успел добавить: «господин генерал», – молчанье повисло над ним, как рогатая морская мина висит над пловцом.

Молчали все. Молчало все. Молчали искристые богемские рюмки, высокие бокалы с отпительным шампанским; молчали тяжелые серебряные трофейные вилки; молчала выложенная красными и черными горками икра на тарелках с вензелями; молчали надутые щеки едоков; молчали графины с белым, как слеза, горьким вином; молчал жареный поросенок на длинном вытянутом поперек стола блюде, и золотистый пирог с рыбой молчал тоже. И молча вился табачный дым над лицами, затылками, дрожащими на скатерти кистями голых и в перчатках рук; над жизнями, зарытыми глубоко, на дне затянутых жиром, как льдом, заколоченных костями, как опустелый дом, земляных, земных, гиблых тел.

– Ты молодец, парень! – хрипло вскрикнул генерал, и мучительный приступ кашля сотряс его широкое неуклюжее тело до основания. Он кашлял – люди слушали. Он громыхал, как старые органые мехи, которые некому вращать в холодном ночном костеле. – Ты молодец! Россия с тобой не пропадет! Считай, ты прошел проверку на «ять». На большой! – Он выставил большой палец над согнутой ладонью, и Юргенс хорошо видел, как палец генерала дрожал. – С тобой будет о чем поговорить тем, кто живет и дышит там... – он передохнул, отдышался, захрипел опять, – ...куда мы тебя посылаем. Ян! – Сидевший напротив генерала смуглый худо-

щавый молодой человек в крохотных надменных усиках, вида благородного и дворянского, дернулся, чуть не подскочил в кресле, благоговейно уставился на генерала черными, как ежевика, масляными кошачьими глазами. – Дай господину Юргенсу, солдату Зимней Войны, все необходимые инструкции!.. И не забудь, что его зовут уже по-другому. По-другому!..

Незримый виночерпий возник из-за зашевелившихся голов и спин, его затянутая в белую лайковую перчатку рука мигом наполнила стеклянные сосуды. Люди воздели рюмки и бокалы, сдвигали звенящие фужеры, засмеялись, заблажили, захрюкали шуточки и ругательства, облегченно застрекотали, заблеяли, заквакали, переведя дух, увильнув от угрозы. Пирующие, судя по всему, не чувствовали себя на Войне, хотя все, жрущие и пьющие за широким, как снежное поле, столом были воинами Зимней Войны, прокопченными Ее дымами, пронзенными Ее пулями, а Ставка находилась неподалеку от самого пекла Войны, в глубинах горного кряжа, хребта Хамар-Дабан. На Юг раскинулась выжженная пустыня Монголии, на Север – синяя простыня святого Байкала. А может, это были совсем другие горы. Может, Юргенс бредил, и это были совсем, совсем другие горы. Где говорили на другом восточном языке. Где обматывали головы полотенцами... или нелепыми, изящными, как тюльпаны, тюрбанами. Где в сильные морозы на плато находили замерзшие трупы детей, черноколых девочек с куклами в руках: они гуляли и играли, и случайная пуля прошивала их, пришивая навеки к земле. Дети, дети! Нельзя безнаказанно играть на Зимней Войне. Ты заиграешься, и пуля найдет тебя. Выскользнет из-за скалы. Из-за гранитного уступа. Пуля вцепится в тело и разорвет его изнутри, как будто она дикая собака или дикая кошка. В снежных горах, высоко, живут дикие кошки. Они белые, как снег, и у них по шерсти сумасшедшие, как оспины, пятна. Пятна слагаются в узор. В текст. Его можно прочесть. Его читают восточные колдуны... знахарки. Юргенсу мать говорила, что ее мать, его бабка, была знаменитая колдунья. О, он от нее, должно быть, много перенял. Вот генерала заколдовал. Куда они его забросят?!

– Выпьем за твое боевое крещение, славный солдат Зимней Войны! – напыщенно сказал генерал, наконец прокашлявшись, и высоко, театрально поднял рюмку с ярко-красным вином. Каберне, – подумал Юргенс равнодушно, или «медвежья кровь». Пусть хоть человечья. Он выпьет. Он впервые в Ставке. Он, простой солдат. Гордость расперла его изнутри, как опухоль на месте плохо зарастающего раненья. – Выпьем, господа! Пока с нами такие солдаты, Россия...

Он не дослушал – опрокинул бокал в глотку. Когда начинались разговоры о России, о ее высоких судьбах и великих миссиях, он как будто глух. Он стоял, как глухарь, ничего не слышал о великой России, о себе самом, какой он хороший и пригожий, и какие подвиги он еще совершит, и куда его отправляют на самолете сегодня ночью прямо из Ставки, и пил вино, пил залпом, и просил еще налить, и снова пил, и не пьянел. Это ему всегда удавалось с большим трудом – опьянеть. Пьянел он только с Кармелой, когда всей тяжестью набухшего желаньем тела входил в нее, сосредоточиваясь всеми силами молодой жизни на живом таранящем женщину острие. Табак, женщины, вино. И еще деньги. Он забыл о деньгах на Войне. Он забыл, как они выглядят, как они шуршат и пахнут. Неправда, что они не пахнут. У них есть запах. Они пахнут чуть-чуть бабьими духами и кровью. Подсохшей, солоноватой кровью, застывшей сукровицей. Они, конечно, дадут ему деньги, если он полетит в Европу отсюда, из Азии. Или в Америку. Много денег. У него будут карманы, оттопыренные от пачек денег. Он не будет знать, куда их девать. У генералов всегда много денег. Ведь это они ведут эту проклятую Войну. Мы гибнем, а они жиреют. Обрастают деньгами. Нет, врешь, они тоже гибнут. Как ты так о генералах можешь. И в Ставку попадает снаряд... бомба. Этот генерал весь исчеркан шрамами, не хуже него самого. Не обижай его. Он ведет твою Войну. К черту! Она не моя. Она всехная. А всем она сдалась. Все в гробу ее видали.

Скорей Она увидит тебя в гробу, чем ты Ее.

Лакеи унесли пустые бутылки. Свет в ярко горящих люстрах был припогашен. Люди во френчах откинулись на спинки кресел, лениво ковыряли зубочистками в зубах, перебрасы-

вались мурлыкающими ручьями позабытых мирных словечек. Ах-ах, какая благодать. Он – стрекоза. Он вылетает из Войны вон. Его выпускают. Им выстреливают по мирному миру, как живой катапультой.

Когда со стола уносили горы посуды и сдергивали скатерть, генерал подошел к нему, стоящему, вытянутому во фрунт.

– Эх, парень, – тихо сказал генерал. – Что ж ты все пил да пил. Захмелеть, что ль, хотел. А пирога с рыбой так и не попробовал.

Генерал взял с забытого посреди стола блюда отрезанный одинокий кусок и в слегка подрагивающих руках протянул Юргенсу.

– Ешь, – сказал он тихо, внятно и властно. – Отныне тебя зовут Лех. Это твоё имя для мира. Для того мира, где ты будешь скоро. Ты привыкнешь. Многие люди имеют по два имени. Не пугайся. Это не страшнее, чем поднимать взвод в атаку.

– Лех, – повторил он и закусил жадно кусок пирога, приняв его из генеральских дрожащих рук, как священную еду.

Он ел пирог, плакал – наконец-то – пьяными легкими радостными слезами, улыбался и повторял про себя: Лех, Лех. Вот его и крестили. Он теперь, как монголы говорят, дважды рожденный. Значит, ему и умереть дважды.

Он вылетел в Иной Мир на самолете уже на рассвете. Звезды серебряными россыпями, грудями золотого песка, озерными желтыми крупными кувшинками стояли над Ставкой, над розово сверкающими в звездном и лунном свете гольцами Хамар-Дабана. Он влез в брюхо самолета, согнувшись в низко прорезанной дыре двери в три погибели. Там было темно и страшно. Так входят в смерть, подумал он весело, и едва не рассмеялся. Дважды мертвый. Дважды рожденный. У него еще будут здесь сраженья. Он еще вернется.

Раздался рык моторов. Он, привязавшись к креслу ремнями, закрыл глаза и вспомнил Кармелу. Военная жена. Что может быть хуже. Ее изнасилуют без него. А потом ей это все понравится. Жизнь. Это жизнь, Юргенс. Это лучше, чем смерть. Юргенс?! Брось врать себе. Ты Лех. Ты просто Лех. Просто дикий Лех, дикий волк, Лех с Хамар-Дабана, и все тут.

Самолет набирал высоту, он мучительно хотел спать в неудобном кривом кресле, он забыл развязать ремни, он повторял все время, как заклинанье, как древнюю песню: Лех, Лех, Лех, – будто молил кого-то именем, как монгольской молитвой, мантрой, умолял, призывал.

Они появлялись в горах Войны редко, перед большими сраженьями – призраки, воины, всадники в черных башлыках, в мышино-серых шинелях. Они ехали верхом, мерным и медленным шагом, качаясь в седлах, молча, серые, черные, белые, почти прозрачные, бесплотные. И все же из плоти и крови были они.

Они ехали рядом – офицер и офицер, офицер и денщик, и генералы впереди, и длинная молчаливая вереница солдат. Солдаты Зимней Войны верили, что виденье предвещает страшный исход боя. Страшный для кого? Каждый думал про себя. И в любви, и на Войне каждый думает лишь про себя. Серые шеренги безмолвных всадников ехали мерным шагом в горах, по узким тропам, и кони ступали неслышно, и копыта не звенели о камни. Снег дул им в лица, бил по щекам. Заносил башлыки, серое, болотное сукно шинелей, набивался в папахи, в бурки. Ложился серебряной крупой на погоны. А у многих и погон-то не было: сорвали. Зачем? Чтобы враг не узнал об Армии.

Армия умерла. Да здравствует Армия.

Мохнатые шапки плотно сидели на головах всадников, напоздали им на глаза. И мрак глаз было под шапками не видать. Шинели офицеров, сидящих, как влитые, на конях, были подпоясаны широкими кожаными поясами, именными ремнями. Лица, будто высеченные из камня, сурово глядели в ночь. Призрачное войско чаще всего появлялось в горах ночью.

Ночь, и бесконечное людское серое вервие, и молчащие морды коней, и каменные лица, и мрак неразличимых глаз, и россыпь звезд вверху, над головами. И мороз, Адский мороз под-

жигает уши, рвет носы, подирает когтями щеки и скулы, дубит и деревенит ноги, – если ты упадешь с лошади в сугроб, ты застынешь навек очень быстро, полчаса, и ты готов. Будешь молиться морозу неподвижными белыми губами. Эти всадники мертвой Армии все едут и едут, и нет им конца. Солдаты и офицеры Войны, кому доводилось видеть всадников в горах, втыкали кулаки в рот, чтобы не закричать: они все ехали и ехали, все слетал и слетал снег на дрожащие крупы коней, на островерхие, как гольцы, башлыки. И, светясь, горя оранжевым, бешеным угольным огнем поддувала, по ветке железной дороги, невесть когда и кем проложенной в горах, – по ней и не ездили уж давно поезда, рельсы были разобраны там и сям, – на страшной, невыносимой скорости мимо мертвой конной Армии неся бычий, толстолобый бронепоезд и выл, как волк, как снежный барс в горах над телом убитой подруги. Как воют псы, когда заключенных ли, пленных ведут ко рву, на расстрел.

Поезд мчался мимо всадников, бешено, неудержно воя, обдавая их смрадом, сажей и черным дымом, и всадники вскидывали мертвые головы, и улыбались надменно, и нельзя было прочитать во мраке глаз, что они думают о нынешней Войне – они, погибшие на Ней же, вечной, век назад. Люди наивно думают, что война – это так; раз, два, немного лет мученья, перебыют много народу, зарубят и взорвут мальчишек, соберут в котелки, наподобье супа, материнские и вдовьи слезы, – и выдох облегченья, и баста, и снова мир. Нет. Война идет все время. Она идет сокрыто от глаз; она идет зимой, она идет в горах. Чтобы всегда холода, и чтобы меж скал и ущелий никто не увидел, как погана и гадка смерть, как она проста, чудовишна и обыденна – как глоток водки, как зачерствелая горбушка в судорожно сжатой мертвой руке.

Этот самолет летел высоко. Очень высоко.

Юргенс стоял, задрав голову, глядел в зенит. Ого, парень, высоко же ты забрался. Ты обогнал звук. Свет ты не обгонишь. Свет человеку никогда не обогнать. В казарме им давали уроки; учили, что, если человек, по каким-то там причинам, задвигается так же быстро, как свет в небе, он станет тяжелым, недвижимым, чугунным, он превратится в чугунную смерть. Так стремительность внезапно переходит в косность. Счастье – в ужас. Как высоко он летит!

В темно-розовом чистом небе, ясном и холодном, зажглась первая лучистая звезда. Летчик летел в истребителе на звезду; нос его машины был направлен на малый пучок иглисто света в бездонье вечернего неба. Как далеко... то исчезает, то появится опять. Летает кругами над зимней землей, изрытой, избитой взрывами. Горы, как секиры, гильотины, острые сколы. И самолет высоко – быстрая черная птица. Летает, заслоняет крыльями то Солнце, то Луну – вот, вон она, раскосая бурятская, монгольская Луна, толстощекая, желтая, срез апельсина ли, лимона. Заныла шея, он потер загривок. А может, летчик – призрак? Летучий Голландец Зимней Войны. Зачем он кружит над землей в такой высоте, что, если выпустит руль и станет падать – будет падать так долго, что закутается во всю свою целую жизнь, как в овчинную шубу. О как ему холодно там, в выси!

Не бойся, Юргенс, на нем теплые краги, теплый шлем, теплые высокие военные сапоги с заклепками и плотной шнуровкой. Он не замерзнет. Он Ангел Зимней Войны. Он летит прямо на звезду, видишь. Он никогда не долетит. Он черная птица, широкие крылья. Он уходит, ввнчиваясь штопором в зенит, все выше и выше. Туда, где истончается до предела пожарный, пропахший кровью земной тяжелый воздух. Ангелы швыряют друг другу апельсины, лимоны. Ловят огненные шары, смеются. Кусают цедру, и сок, и спирт брызжет им на румяные щеки, в рот, на подбородок. Не съешь нашу Луну, летчик, зимний Ангел. Она нам еще пригодится. Хотя людям и их земля что-то не очень-то пригождается уже. Надоела, может? Из земли вышли, в землю уйдем. Веселого мало. А уйти в небо – о, это совсем другое. Это Ангельское, высокое счастье. Не каждому достается такой сладкий пряник. Не каждый кладет руки на посмертный веселый штурвал.

Он помнит свое первое сражение на Войне.

Боже, как страшно ему было.

Дым поднимался за оббитыми снарядами скалами. Оплавленный остов взорванного моста через белопенную, весело бормочущую невнятицу горную речонку поднимал к пустому серому небу обрубленные пальцы железных каркасов. После оглушительного грохота наступила тишина – он упал в нее, как в пропасть. Огонь горел везде, куда ни глянь: на обугленных плато, на срезанных взрывом быках моста, на лесистых склонах ближней высокой горы с трехзубой снежной вершиной. Кострища, одно, другое, третье. Он ощупал себя. Ранен. Под рукой теплое, текучее, лизнул языком – соленое. Пуля попала в плечо. Где его командиры? В ушах еще стоял, сквозь гул и грохот, непрерывный вопль бессмысленных команд: огонь!.. батарея!.. товсь!.. пли!.. Огонь. Вот он, огонь. И у него в плече пуля. Смоляные клубы вонючего дыма забивали ноздри. Воронки черными подземными глазницами слепо глядели на него. А он не знал ничего. У него память отшибло от страха, от грохота, от взрывов. Он не знал, что взрывной волной его бросило на землю, и он больно ударился лицом, головой, и так долго лежал, и лицо его заливала кровь, и земля набилась ему в рот; не помнил, как потом очнулся, как поднялся на ноги, упал опять, затравленно озираясь в дыму, закаменевшей ладонью размазывая по лицу едкий пот и кровавые сгустки, выплевывая землю изо рта. Он не знал, что остался один. Что долго лежал на земле, сутки, а может, и больше, и его сочли мертвым, пропавшим без вести, и его рота по приказу отошла с утраченных позиций.

Он один остался. Выжил. Вспомнил, что его зовут Юргенс. Мать называла его так. Простая русская семья; зачем в материнских губах играло лимонной долькой иноземное имя? Какая кровь, какие крови текли в ней?.. Какая кровь течет в каждом из нас?.. Мы ничего не знаем. Он не знал ничего. Когда после призыва их согнали в кучу в пахнущем известью и аммиаком актовом зале старой казармы, его еще выкликали по фамилии, и потом тоже, когда за грязные сапоги или за оставленную второпях в умывалке зубную пасту ему давали увесистого пинка в зад, и когда он бежал по жестокой жаре в чугунных непреподъемных сапогах, голый до пояса, бесконечно, мучительно бежал под приказные вопли все вперед и вперед – и вдруг падал без сил, и еще потом, когда по тревоге их всех, дюжих молодцов, построили в жестко-аккуратные шеренги – без паники, четко и весело, час пробил, время настало, кто, если не мы, будет сражаться на почетной Зимней Войне, проглотит, не поморщившись, кашу из цианистого калия и водку из сулемы, – и спровадили сюда, в логово Войны-волчицы, а шерсть ее торчала на загривке торчком, и каждый волчий волосок излучал серую смерть, – но фамилию он уже не помнил. Крепко он ударился головой. Воздух из легких весь вышел. Он вдохнул мороз, и черноту под пустыми ребрами затопила ледяная волна страха.

В горах свистел ветер, вздымал смерчи пепла, снега и пыли. Сегодня превратилось во вчера. Серая кровь подступила к горлу. Сейчас он ее выхаркнет, утрется и засмеется. Первый бой! Да ведь он совсем не страшен. Вот, он же жив. Почему же так черно и пусто под ребрами?! Он остался один, и он будет драться за жизнь опять, но не за чужую, а лишь за свою.

Он вдруг понял, что драться надо за свою жизнь. Его жизнь – это жизнь гор, и звезд, и белых пограничных фонарей, и голодных воющих волков, и воющих солдат, и Солнца, и Луны. Пока он жив – живо все это. А, пуля... здесь, в плече! Как горячо плечу. Надо идти. Надо искать часть. Мужиков из взвода... убило, что ли?!.. Он оглядывался. Искал тела. Эхо выстрелов отгромыхивало далеко в гольцах.

Один. Никого, кроме него. Глянь, Юргенс, в зеркало автоматного барабана! – улыбнись – знакомый частокол зубов, борода, зарос, давно небрит, на месте глазного зуба – черная дыра, невидимая награда давней, детской драки. Выдерни из чехла селедку ножа, прищурься. Твои, твои собственные глаза – в черно-серебряном тумане лезвия. Он поглядел на свою ладонь. Бред. Ему почудилось, что ладонные линии складываются в отраженье его лица. Ладонь – зеркало?! Ты сошел с ума, Юргенс. Погляди вокруг. Переведи дух. Вон Солнце в сером дыму, вон кровавая рыжая Луна за развалинами моста. Луна похожа на красный высохший череп коня. Монгольской послушной лошадки. Здесь, на Востоке, и женщины и лошади так послушны,

ласковы. А собаки?! А собаки здесь дикие, как волки. Иначе им не выжить, собакам. И мы ведь тоже псы, Господи. Мы псы Войны. Мы рвемся и лаем. Мы кусаем врага до крови, перегрызаем ему горло. И пьем его кровь, иначе мы сдохнем с голоду.

Будь неладна эта Война. И все же это его первый бой. И ему надо найти своих. Свои, наши. Все перепуталось. За что боремся мы? За что дерутся они? Раньше на войнах твердо знали, за что мужики дерутся. Теперь...

Вперед, мужик. Руки твои целы, ноги целы. Ты в силах идти. Ты немного подранен, это да. Да это гиль, царапина. Пошел, пошел! Ать-два, левой! Ать-два, правой!.. – идут. Ноги идут. И только Господь, ну, перекрестись, Юргенс, рука не отсохнет, ведь на тебе же крестик нателеный, он там, под гимнастеркой, – если Его не распнут снова – черными гвоздями снарядов на белом кресте снежных высокогорных плато, насквозь продуваемых дикими ветрами, – может остановить этот злой четкий шаг.

Камни прыгают под ноги – прочь их, отшвырнуть. Ты можешь идти, и иди. Не хнычь!

Никого кругом. Их всех убили. Он один. Это конец.

Что дальше конца, Юргенс? (Ноги идут. Ноги идут). Человечек, да как же ты устроен дешево – занавес падает, а Петрушка просовывает кукольную головенку в дырку, пляшет над ширмой на бечевках и пищит: а дальше что?.. а дальше что, дяденька, что!.. – а суровый тощий кукольник задирает ему пестрое платье, обматывает веревками и мешковиной и с размаху бросает в походный сундук: все, конец! А жалобный писк и со дна сундука доносится. Он жив. Что это меняет? (Ноги идут. Ноги идут, печатают шаг). Его губы шевелятся. Они бредят сами по себе. В голове стоит гул боя. Крики раненых. Он видел и слышал, как умирали люди. Уж лучше бы он умер сам.

Перестань болтать сам с собой. Прокуси себе губу. Красный сок потечет по подбородку за ворот маскировочного балахона. Балахон весь в блестящих молниях, замках и заклепках. Армия не жалеет денег на амуницию – слава непобедимой Армии!.. Где она теперь, Армия?.. Спит. Она на дне пропасти. Она разбилась, расшилась. Юргенс – один из ее снов. Он Армии снится, и она ему снится. И Война ему снится тоже. Все есть его сон. Тряхни головой, пробудись, ковыляющий по горам потрепанный человеческий воробей. Железо, камень, ветер, пыль. И тишина. Странная тишина, когда не стреляют.

Ноги идут. Ноги идут. Идут размеренно и неколебимо. Так кажется ему. Может, на самом деле он спотыкается, бредет, ползет бессильно, падает, кряхтит, упрямо карабкается вперед. Все вперед и вперед. Его так учили. Его учили бить врага в зубы и в висок; говорить с врагом на его языке. Ему вбивали в голову: враг! Враг! Война – с ним! До конца! До победы! А победы все нет и нет. И люди уже разучились отличать врага; люди уже лупят по своим, люди подносят револьвер ко лбу и стреляют в себя. Он в себя не выстрелит. Не дождетесь. А Луна-то не одна в небе, а две Луны – красная и синяя. Синяя – круглый обритый череп убитой в бою женщины. Царицы Ай-Каган. Она с белыми, серебряными, набеленными щеками, синяя, молочная, круглорожая, серебряная, степное блюдо, казан, таган. Она Царица здешних гор и зимних степей, и она родила своего сына, царевича Мир-Сусне-Хума, для Войны. Он, Юргенс, видел царевича на Зимней Войне. Сегодня в бою видел. Царевич пролетел над ним на черном коне с серебряной гривой, его доспехи были усыпаны холодными звездами, как каплями слез. Луна красная – это череп его коня. Луна синяя...

Зачем ему две Луны! Одну надо пристрелить!

Он не выбрал, какую – переспелый гранат или сизую сливу. Он вскинул автомат. Он целился. Он хохотал. Ноги идут. Ноги идут неотвратимо. Он кричит во все горло – оно пересохло, оно забито горькой пылью: ты, Царица! Я убью тебя снова! Я буду есть и пить из твоего голого синего черепа!

Выстрел раскатился в горах.

.....Господи, я убийца. Я убийца, Господи. Я убил человека. Я убил сегодня людей в бою. Все давно мертвы вокруг. Холод. Мороз. Я не хочу убивать. И я хочу. Что со мной. Как входит штык в дергающееся тело. Как ловят ноздри последний воздух. Как глядят выжженные глаза. Как выдергиваются серьги из женских мочек. Как в предсердии оружия бьется слепящая кровь убийственного огня. Я убийца. И я обречен. Никто теперь не убьет меня. Никто не пригвоздит меня к земле прицельными, сухими выстрелами. Я остался один, Господи. Пошли мне, Господи, пулю в новом бою! А боя все нет, нет и не будет. Зимняя Война – кончилась?! Пошли мне смерть, Господи. Много огня в моем оружии. Я – создатель чужих смертей. Я буду мстить людям их смертями – за отсрочку своей. Но кого теперь убивать мне, Господи, когда я – один?! Я – убийца, и я один в этом мире. Вот она, пытка Твоя!

.....грешник я был, что ли, великий, уж я и не знаю теперь, хотя, Господи, я Тебе насолил лишь одним тем, что я в Тебя не верил, все солдаты стояли босиком на ледяном полу в казарме и молились, а я не молился, я лежал, скрючившись, под верблюжьим одеялом и, при свете карманного фонаря, закрывая зевок измозоленной прикладом ладонью, рассматривал лубочные, аляповатые календари с обнаженными девицами, и по всему жилистому, высохшему, как у сушеной рыбы, телу моему перекатывались бугры слепого звериного желанья, – а солдаты, мои соказарменники, стояли босые на сквознях и возносили Тебе упорные благостные молитвы: «Сохрани нам жизнь!.. Не убей в бою!..» – Господи, Ты видел все нечестивство мое, и Ты воздал мне сполна! – я не помышлял о Твоем воздаянии сегодня, когда расстреливал в упор засевших в Твоем разрушенном храме вражеских лазутчиков, и дырявились под напором моего огня стены Твоего дома, а я скалил зубы, сумасшедший и наглый от постигшего меня ужаса убивать, пьяный от удачи в первом бою, – Господи, милый Господи, да в Твоем ли расстрелянном храме тут дело, меня учили убивать, меня послали сюда, на Зимнюю Войну, – а снег идет, валит и валит, метель обвивает нам шеи и лопатки, мороз тычет кулаком в нос, приставляет железные брусья к голой щеке, к голой, без рукавицы, ладони, – а каждая человеческая жизнь разве не есть Твой самый святой храм, Господи, и расстрелять ее – все равно что расстрелять Солнце, чтоб оно более не светило никому, и Ты с высоты своей сам все прекрасно видел, как.....

Он видел огонь. Огонь обнимал людей и горы, зданья и ангары. Огонь воздевал к небу красные руки. Что болтали буряты про статую золотого Будды?.. Зачем они паломничают к ней, поклоняются ей?.. Золото в огне не горит. А плавится ли?.. а если окалина...

Он впервые видел на Войне огонь, так много огня, и сердце его сперва замирало, потом ожесточилось, потом обгорело. Он уже не боялся огня. Огонь на снегу красный, как кровь. Господи, лучше пулю в лоб, чем сгореть живьем.

Что это маячит впереди? Это рельсы блестят. Здесь, в горах, где разреженный воздух режет горло, как битое стекло, – железная дорога? Для высокогорья она – бесполезная, чудовищная игрушка. Кто ее забросил сюда?

Рельсы двумя ножами были брошены между гранитных уступов, под остро стесанными рубилами гольцов.

Взлетала белыми воробыиными перьями, леденистыми вихрями сухая снежная крупка. Ветер бился о плоские щеки отвесных скал, хрипло клокотал в базальтовом горле ущелья. Юргенс, как ребенка, притиснул к груди автомат. Он ступил на шпалы, чтобы перейти рельсы, как реку – и тут же отскочил, как ошпаренный: навстречу ему по блестящим под звездами в горной ночи рельсам на всех парах неслась дрезина. Сперва он сощурился, хотел стрелять – ему показалось, в дрезине кто-то сидит. Он сразу понял свою ошибку. Дрезина была пуста. Она летела по рельсам в железной тишине могучих мускулистых гор – преисподняя повозка, не запущенная никем, не ведомая. Она летела из никуда в ничто, и он не сплеховал, смекнул, напряжился, оттолкнулся пятками, изловчился – впрыгнул в нее.

Дрезина неслась, безумная телега, пропарывая синий хрусткий воздух морозной ночи. Над горными пиками белели звездные шрамы и ссадины. Мороз всаживал иглы в щеки, скулы; уши мерзли под утепленной каской, оклеенной изнутри бараньим мехом. Плохая была у них, солдат, экипировка. Владыки поскупились выдать Армии того, сего тепленького обмундирования на время долгих зимних сражений. Люди недавно наивно думали: если они изобрели смертоносное оружие, способное убивать сразу тысячи, тьмы тем народу, – значит, обычной войны уже не будет вестись, не будет ружей, автоматов, гранат, пулеметов, зениток. Ничего подобного. Все сохранилось. Все осталось как есть. Люди боялись умертвить сразу всю землю скопом и себя самое. Они поняли, что нужна длинная борьба, долгий измор. Оказалась нужна обычная война. Просто война. Зимняя Война. Дрезина, как ты быстро несешься. Какие гладкие, серебряные рельсы. Юргенс стоял не шелохнувшись, как собака в стойке на опасной охоте, вцепившись в поручень рукой в толстой меховой рукавице, голице – если б он впился в железо голой рукой, он бы отдрал ее от поручня вместе с кожей. Вокруг катящегося по рельсам солдата пламенела, мерцала, сухо осыпалась звездными листьями морозная ночь. Над головой зияла крошечная пасть пустоты. Он в беззвучной стальной колыхающей неся в пустоту, криво усмехаясь углом рта и зная доподлинно, что рельсы сейчас оборвутся, – ну и пусть, и здравствуй, пустота. Он стоял в дрезине, как замороженный, и напряженно ждал, когда же он полетит в пропасть, и иступленно желал этого мига, и панически боялся его. Но бесконечны были гладкие тела двух блестящих под синей раскосой Луной – красная куда-то исчезла, закатилась за гольцы – железных змей, и звезды над ним мигали, подмигивали ему отчаянно и весело, как заговорщики.

А с окрестных гор глядели, усмехаясь зло и шербата, голые черепа разбомбленных обсерваторий, искрились снежные голубые костяшки намертво сжатых каменных кулаков, – мир умирал один, без людей, и один человек, по имени Юргенс, один умирал в одиноком мире. Они были братья. Они были квиты. Юргенс подумал о том, что вот он ляжет на камни, полегит немного, застынет, задрожит, замерзнет, и небо укроет его роскошной звездной плащаницей. А дрезина все неслась, все мягко подпрыгивала на рессорах, все вонзалась железными крючьями боковых треугольных фар, похожих на раскрытые клювы древних птиц, в угольный пласт ночной шахты.

Что же так побаливает живое сердчишко, Юргенс? Не стал ли ты колдуном на мировых похоронах? Последним горным черным шаманом? Где люди? Где твоя Армия?! Вот так первый бой. Вот так первую шутку сыграла с тобой Зимняя Война. И последнюю. Ты пришивал людей к земле огненными силками. Ты... что это?! Что это там, слева по ходу железной таратайки?! Дом. Окна горят. И музыка – еле слышна. Уж не спятил ли ты, Юргенс?! Дом в горах! И свет в окнах! И...

Там живут люди. ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ!

Дрезина мчит оголтело. Скорей! Времени на раздумье никакого. И так же внезапно, как он впрыгнул в стремительно несущуюся под звездами дрезину, он резко, рискуя сломать шею, втянув голову в плечи, прижав руки к животу и плотно, как младенец в утробе матери, подбрав колени к подбородку, вывалился из повозки – и покатился, сцепив зубы, застонав, по крутосклону, обдирая об острые камни ладони, локти и щеки, разрывая балахон о кусты горных цепких колючек.

Снова красная Луна глянула из-за каменных зубцов. Синяя, нахальная ее сестра, Ай-Каган, смеялась, мертвенная морда ее расплывалась в широкой змеиной ухмылке, дырявые глаза мерцали светляками, вспыхивали и гасли. Краснорожая раззявила на полнеба красный орущий рот. Между Лун тек и струился звездный снегопад. Юргенс подмигнул обеим Лунам и свистнул.

Он сдернул рукавицы. Цепко сжимая мгновенно коченеющими на морозе пальцами ствол оружия, Юргенс подобрался поближе к горящим окнам дома. О, дом ходил ходуном! Ему почу-

дилось, что ободранные, потемневшие под натиском горных метелей доски источают жар, пыль и пот. Он прижался щекой к ставню, по-гусиному вытянул шею и заглянул в дыру окна. Там танцевали!

Господи, одинокий дом в горах. И там пляшут. Уж не бредит ли он. Куда завезла его сумасшедшая дрезина. Юргенс всунул голову поглубже в окно. Пары неслись по бесконечному кругу, визжа и вереща, тяжело притопывая, жарко сплетаясь, кольца дрожащих от любовного голода рук свивались на спинах и шеях, мужики зарывались губами и носами в перепутанную темь женских расплетенных кос, наступали пудовыми башмаками на цветные вихри подолов, трогали грубыми руками обнаженные, в прорезях юбок, женские белые ноги, и женщины зазывно, истомно прикасались острыми пирамидками груди, шепча бессвязные жаркие речи, к холодным бляхам и колючим нашивкам мужских военных комбинезонов и охотничьих, пропахших порохом и мокрой собачьей шерстью курток. А это кто?! Он сглотнул. Кто – эта, вот эта, за стойкой бара, заслоненная пустыми бутылками из-под мартини и кальвадоса с отбитыми горлышками?! Ее отражение то исчезает, то появляется в грязных, засиженных мухами зеркалах. Амальгама обшарпана – из зеркал льется свет синей Луны. А красная Луна где?! А где же белая Луна, еще довоенная, одинокая, – где ее тихий свет?! За дымно несущимися вдаль, в ночь и смерть, зимними тучами?!

«Красотка!.. Эй! Две бутылки „Консорто“ и хороший, крепкий стакан, не шербатый».

«Душка, дай поцелую шейку, носик, – губки жалко, жадина?!.. Два одеяла в номер мне, – в ваших чертовых горах такой колотун!..»

«Что ты, стерва, кобенишься. Что выкаблучиваешься. Видали мы таких цац. Быстро!»

«Два хереса, ром и „Мальдивский водопад“. Пойдешь за меня, если позову?..»

«О, я-то думал, ты дура, а ты знаешь приемы!.. Где ты училась джиу-джитсу?.. Обучи и меня!.. За отдельную плату!..»

«Три рюмки коньяка, ласточка!.. Лимончик положи!..»

Он глядел на девушку за стойкой бара не отрываясь. Впалые, измученные убийством, страхом, одиночеством глаза его горели на бледном, грязном лице. Перевязанное наспех портянкой плечо болело. Он не сводил с девушки глаз. Мирный дом на Зимней Войне гляделся редкостью, как павлинье перо. А девушка за стойкой сверкала ярче всех на свете павлиньих перьев. Молодец дрезина. Правильно его привезла. Какая судьба.

Он напряг тело, по-волчьи готовя его для прыжка.

Что было в твоей жизни, Кармела? А ничего особенного. Ты молчала. Улыбалась. Глотала слюну. Глотала обиды и бранные слова. Глотала коньяк втихомолку, забывая взрывом перцово-вой крепости в плотке и груди готовые вылиться слезы, приседая под уставленной прозрачной стеклянной утварью стойкой, чтоб никто из посетителей не заметил и не наорал: а барменша-то – пьяница!.. Утирала губы и глаза ладонью, юбкой. Вставала. Опять улыбалась. Зубы блестели под розовинкой подмалеванных губ двумя платиновыми подковками. Резала лимон. Дольки лимона с тарелки улыбались ей. Она клала кислые лимонные улыбки на края граненых рюмок, несла улыбки на подносах на столики, колченогие и увечные, заваленные горками табачного пепла. Ее улыбки запихивали в неистово жующие рты, кололи мохнатыми усами, швыряли на замусоренный пол одним щелчком мозолистых пальцев. Ее улыбки смаковали и выплевывали. Просили повторить. Ее улыбками рыгали и блевали.

И однажды – редко – кто-нибудь – она никогда не знала, кто – не ел, не пил, не сплевывал, не обсасывал, а тихо, незаметно, в сполошном полумраке и терпком табачном дыме, глубоко вдыхал и осторожно целовал. А может, ей это снилось? Она, набегавшись за долгий день, бывало, от усталости валилась там, где стояла – прямо под стойку бара, сворачивалась клубком, как котенок, и мгновенно засыпала. Ей снилось, что она богачка. Что она владеет всем. Что у нее много, много денег и самоцветов – все карманы полны, и из-за пазухи вываливаются, падают на доски пола, в пыль дороги. Она владелица постоянного двора! И всех окрест-

ных гор! И всех птиц в небе! И всех самолетов и пушек Зимней Войны! И всех мужиков, что в безумье угара, табака и вина нежно плятятся на нее – она теперь над ними царица, и пусть только мизинец ее кто посмеет тронуть!.. Да уж я всю ее давно перетрогал, брат. Теперь ты попробуй. Закуска что надо – с кислинкой.

Она выросла в зимней стране. Ее отец умер давно. Они с отцом когда-то жили в большом страшном городе, называемом Армагеддон. Отец забросил ее в эту гостиницу в горах, когда она была еще девчонкой, а сам ушел на Зимнюю Войну и погиб. Она прокляла сначала свою жизнь, потом постаралась полюбить ее. Ей казалось, ей это удалось.

Девочка за стойкой – как это было романтично. Она умело обращалась с винными бутылками, с иной стеклянной посуденкой. Она научилась курить, изящно прикуривала, пускала дым колечками. Мужчины хохотали над ней. Они лапали ее в каждом углу. Она уворачивалась от них, швыряла в них стреляные гильзы ругательств. Она привыкла к Войне, как привыкают к горькому, бесполезному питью. Она глядела на солдат вражеской армии, заходящих в гостиницу то с парадного, то с черного хода, как на зимних птиц, – они голодны, их надо накормить. Человек голоден. Мужик голоден. Накормить! И дать выпить. Выпить – это святое дело. Это прежде всего. Прежде супа, жаркого. Ей на кухне помогал старый одноглазый повар Тимофей, бывший моряк. Какие он стряпал макароны по-флотски! Даже отец ее таких стряпать на умел.

А что дальше будет в жизни? Война грохотала совсем близко. Кто выстроил гостиницу в горах, одну, на отшибе мира? Ночами приходили волки и снежные барсы, садились кругами рядом с домом, подняв морды, выли и мяукали, жалуясь звездам на жестоких людей. По сумасшедшей ветке железной дороге сюда доставляли раз в месяц еду – для харчевни. Что будет, если дорогу разбомбят вконец? Она задавала себе этот вопрос много раз, пугаясь ответа, потом перестала задавать. Она стала просто жить. Просто страдать. Плакать от обиды. Пробовать обед на кухне. Облизывать пальцы. Выпивать рюмочку коньячку. Целоваться с тем, кто ей был по сердцу, отбиваться с отвращением от тех, кто был ей не мил, противен. Иной раз ее насиловали. Иногда ей удавалось побеждать. Тогда она гордилась собой. А потом опять плакала. Бывало и так – ей ломали руки, затыкали рот, больно дергали за волосы, и она не могла биться, бороться. Она кусалась. Плевала обидчику в лицо. Это была ее маленькая Зимняя Война.

Женщина и Война – как нелепо. Она слышала дальние взрывы. Она представляла: вот снаряд попадает в гостиницу, и все взлетает в воздух – и койки с верблюжьими одеялами, и столы в зале, и батареи бутылок, и полных и пустых, и люстра, и свечи, и люди, главное, люди. Они взлетают, людские тела, летят вверх, прочь от земли, разодранные взрывом на куски, на красные клочья, потом падают на землю. И она разодрана надвое, и из рваных лоскутов тела бешеным потоком льется кровь. Отец рассказывал ей про древнюю казнь ее предков – человека привязывали к наклоненным верхушкам двух молодых деревьев, потом деревца резко отпускали, и живое тело разрывало надвое. Разве это мученье не страшнее любого другого? Взрыва, сгоранья заживо? Люди горят заживо в танке. Вот был недавно в гостинице офицер Серебряков, так он рассказывал...

Ей никогда не удавалось додумать про ужасы. Она не любила думать про страшное. А если честно, она ничего и не боялась. Война ей была скушна. Бедная Война. Она жалела Войну, как жалеют живое существо – ободранного больного волка, загнанную лошадь. Эй, Кармела! Неси к столу на подносе жареную курицу! Кур привезли с Запада, их плохо заморозили, и половина курьего мяса протухла. Тимофей и она расстарались, жарили птицу с перцем, с чесноком, с пряностями, чтобы скормить солдатам, отбить гнусный запах. Удалось. Мужики жрали – аж за ушами хрустело. А может, они были просто очень голодны. Тем лучше. Все съедят. Ешьте. Завтра генералы снова придумают вам бой. Говорили, страшный бой был вчера у селенья Танхой, у железнодорожной станции. Под бомбами погибло несколько бурятских и уйгурских сел. Бедные мужчины, как им, наверно, неохота умирать. А они все умирают и умирают на Войне.

Ну да женщинам тоже не легче. Что, женщины разве не умирают?! Еще как умирают. О, Кармела, до чего вкусенький цыпленочек!.. А добавки можно?..

Можно, только осторожно. Не лезь мне жирными пальцами под юбку. Я и так все слышу.

Она принесла на подносе бритому бурятскому солдатику добавочную порцию, улыбнулась ему, показав ровные подковки зубов, скользнула за стойку бара, пощупала ладонью выпуклые холодные бока бутылок. Доброе вино в них, внутри. А она, кроме коньяка, в иных винах ничего не понимает. Коньяк пьянит, он исторгает из нее слезы. Лечебные слезы. Как бы ей не спиться. Ее отец говорил ей...

Она вскинула голову. Из открытого в морозную ночь окна – в зале столбом стоял дым, было адски накурено, чад и гарь забивали ноздри, – прямо на нее глядел человек в грязной, лунно блестящей каске, с перепачканным, исцарапанным лицом, с автоматом наперевес, глядел, набычившись, молчал.

Юргенс напрягся, закусил до крови губу, перекинул автомат на спину – он больно ударил по позвонкам, вызвав во всем голодном теле тихий звон, – и впрыгнул в окно с шумом и стуком, распугав пляшущие на сквозняке пары, и дощатый смолистый пол гостиничного зала охнул под его тяжелыми коваными сапогами.

Он ломанулся прямо к ней, к длиннеей, через круговерть пляшущей толпы. Он видел перед собой только глаза девушки – широко поставленные, чуть раскосые, черные, влажные, как две темные сливины; видел россыпь черных кудрей по плечам и спине, кольца золотых серег в мочках ушей. У него так давно не было женщины на Войне. Женщина, соблазн, приманка. Уж наверно, эту барменшу имеют здесь все, кому не лень. А не лень на Войне всем. Берегись, она общее достоянье. Дочь полка. Он хохотнул про себя. Как он хотел умереть один, в горах, каких-то полчаса назад. Человек наивен. Он думает, что он и есть целый мир, и что Вселенная кончается именно на нем.

Девушка была красива. Это он сразу понял. Если бы она была уродлива, она вызвала бы в нем точно такое же желанье. Он вспомнил свои юношеские сны. Тогда, в снах, женская красота мучила и пытала его. Он почувствовал желанье за что-то непонятное отомстить ей. Он чуть не умер в бою. Он сам убил людей. Он хотел убить себя – от презренья к себе, убийце, но стал бороться за свою жалкую жизнь, и вот выжил, и вот нашел дом в горах, при дороге, и вот глядит на красивую девушку. А не пригласить ли ему ее погулять в горах на морозе, при Луне. Ты видела ли когда-нибудь полную Луну на морозе, девушка? Она похожа на сдобную девичью ягодицу.

Прыжком он достиг стойки, вырвавшись из потно-тяжелой, пестрой груды танцующих солдат и девиц, невесть откуда взявшихся на Войне здесь, в горах. Навалился грудью на деревянную тумбу; хрипло выдохнул. Уставился глазами в женские глаза. Мир померк. Он почувствовал свою силу. Какие, к черту, войны. Нет ничего. Есть я. Есть ты. Есть старая игра: замри-умри-воскресни.

Колени его стыдно подогнулись. Мелкая влажная вышивка испарины унизила виски, раздувшиеся ноздри.

Девушка ясно улыбнулась, тряхнула черными кудрями, налила поочередно в три бокала – портвейн, коньяк и водку.

– На выбор, трусишка солдатик!..

Она уперла руку в бок, вызываясь качнула бедром. Ну и манеры. Мужланка.

– Портвейн пусть пьют испанцы, коньяк – французы, – проворчал он и протянул руку к водке. – Дай родной напиток, замечательная девушка.

Водка исчезла в его глотке. Желудок схватило с голодухи. Жар разлился по ребрам, по потрохам. В голове нудно зашумело, уши заложило. Как тебя звать, девчонка? А, Кармела. До чего любят в России давать детям иноземные сладкие имена. Приторные, как патока. Заткнись!

Мне нравится мое имя. А я тебя раньше видел во сне. Надоело. Дай лучше еще водки. Я хочу залить водкой бой. Хочу залить водкой бой!

Она налила ему еще водки – уже не в тонконогий бокал, в стакан, – и захохотала. Она смеется над ним?!

– Я не трус. Ты ошиблась. Я докажу тебе.

Он сжал зубы. Чтобы поганая девчонка в придорожной забегаловке могла ткнуть его носом в дерьмо. Он убил сегодня в бою людей. Он запросто может убить ее. Он и убьет ее. Он убьет каждого, кто обидит его. Багровые круги и крылья замельтешили у него перед глазами. Сейчас. Нет. Не сейчас. Что может быть проще – вскинуть автомат и ну поливать огнем тонкую живую черемуху. Там, в России, близ Армагеддона, в полях и в лугах, растет пахучая терпкая черемуха. Господи, как давно он там не был. Будет ли когда. Его могут завтра убить.

– Да ведь и ты не девушка. Ха, ха.

Он увидел, как покраснели ее смуглые щеки. Золотая серьга в ухе задрожала. Он слизнул с губ капли алкоголя. Засопел, блаженствуя. Отогрелся. Покачался из стороны в сторону, как маятник.

– Пусть тебя это не волнует. – Она вскинула чернокудрую голову.

– Да меня ничто никогда не волнует. – Голос его дрожал от жара, радости, волнения, глухоты мощного мужского желанья. – Ты знаешь, что Война закончилась?

– Не ври. Сегодня был большой бой в горах. Вот он закончился, да. Грохот поутих. И я могла приготовить на кухне ужин для гостей. Ты был в бою? Ты солдат?

– Глупо. Ты что, не видишь. – Он показал пьяным жестом на свой балахон. Снял ремень с автоматом с плеча и бросил оружие на пол. – У тебя тут найдется кровать? Раскладушка?.. Соснуть?..

Он подмигнул ей. Она швырнула ему початую бутылку водки.

– Напейся лучше!.. но ко мне не приставай...

Он засунул водку в карман балахона.

– Вы все не умеете пить. Вы все пьете, как свиньи. – Она шумно выдохнула. – Солдат Войны. Как это гордо звучит. Ты знаешь, эта гостиница – мое наследство. За него отец мой покойный жизнью заплатил. Это странноприимный дом. У нас в подвале много бочек с вином. Бутылки привозят на дрезине. Видел сумасшедшую дрезину там, на рельсах?.. она катается взад и вперед по железной дороге, никто ее не ведет, не отправляет, не присылает, на ней можно подъехать, подвезти товар, продукты... А вот одеял теплых у нас все меньше, меньше!.. одеяла солдаты крадут, собаки... Хочешь еще водки, солдатик?.. Ну что у тебя так глаза бегают?.. Не бойся. Худо тебе не станет. Люди сами себя не понимают, кто они. Я одна знаю.

– Неправда. Ты не можешь знать. Никто из людей не может знать.

– Если я откажу человеку в еде и ночлеге, он замерзнет в горах, особенно если дует норд-ост.

– Ты умная, ты знаешь названья ветров. Хочешь выйти на волю, под звезды?

– Подожди. Ты торопливый.

– А ты любишь медленных мужчин?

– Я никого не люблю.

Он зашел за деревянную стойку, отпихнув ногой автомат, валявшийся на полу. Подошел к девушке близко, его грудь ощутила жар, исходящий от ее тела.

Толпичка солдат и баб гомонила и танцевала – топала все тише, смеялась все глуше. Дым заволакивал тусклый свет кабацкой люстры. Музыка то и дело потухала, как свеча – пришлось менять иглу, пластинку. Свет мигал. Рюмки на неряшливо заваленных недоеденными яствами столах бруснично, изумрудно мерцали. Девушка чуть раскрыла пухлые губы, и он безотрывно глядел на блеск ее зубов под верхней вздернутой губой.

– Здесь тепло, – прошептала она, неотрывно глядя ему в глаза. – Еще есть дрова. Уголь. Картошка в погребе. Еще бегают по рельсам безумная дрезина, развозит под звездами сухари в мешках – для таких же человеческих мышат, как мы. Может, еще где в горах людские крохи завалились... Ты ведь в дрезине сюда прикатил?... – Она не ждала от него ответа, говорила, сбиваясь, путаясь, непрерывно. – Видел в дрезине у себя под ногами – мешки?... Там не только сухари, солдатик... там вся человечья жизнь...

Бредит, подумал он. Вся человечья жизнь. Какая красота будет провести с девчонкой ночь сегодня в теплой постели. Или нет. Лучше они пойдут на волю, на вольный воздух, оденутся потеплее, закутаются в тулупы. У нее в кладовке есть старые солдатские тулупы? На Зимней Войне без них не обойтись. В российских тюрьмах повсюду сейчас заключенные, дармовые рабы, валяют валенки и шьют овчинные тулупы для Армии. Его балахон тоже подшит изнутри смешным мехом: цигейка, что ли. И к каске изнутри мех приклеен. Мех и вата.

– Стой! – Он взял горячей рукой ее за руку. – Пойдем потанцуем!

На удивление легко она согласилась.

– Идем!

Он протянул грязные руки. Она вложила свои руки в его. Встала на пустой бочонок. Легко перепрыгнула через стойку бара. Они втерлись в поредевшую толпу танцующих. Юргенс обхватил ее крепко, и они понеслись, хохоча, в неистовом танце, корчась, придумывая на ходу выбрыкливые па, но им живо надоел этот цирк, и они стали танцевать тихо и нежно, колыхаясь, как маленькие колокола монастыря, затерянного в горах. Он прижимался к ней. Его губы уже тянулись к ее губам. Как все обычно. Как все просто. А что на земле сложно. Убийство – просто. Любовь – проста. Роды – просты. Смерть... Про смерть мы не знаем ничего. Она про нас знает все. А война – проста она? Из чего она состоит? Почему она идет так долго? Почему она идет всегда? Во имя чего? А может, во имя ничего? А может, ни во чье имя?

Он хотел ее поцеловать.

Она хотела поцеловать его.

А люди насочиняли вокруг простого желанья сотни завитушек, виньеток, узоров. Разве они нужны.

Не видя ничего во тьме ломающего его вихря, не понимая и не чувствуя ничего, кроме ее рта, языка, сердца и существа, он целовал ее, и горная метель залетела в окно, бросая в их пылающие лица колючую снежную крупу.

Музыка, музыка. Музыка будет звучать долго, нежно. Для них. Больше нет людей. И они не люди. Может быть, они уже Ангелы.

Тот летчик... истребитель. Вот кто Ангел. Он взаправду улетел в небо. А они? Жалкие песики. Голуби с подрезанными крыльями.

– Пойдем... прогуляемся...

Он задышался. Она быстро закивала. Ее щеки горели малиново.

– Подожди. Только я надену шубку. Она за шкафом с бутылками.

Она вылетела из шкафа навстречу ему уже в коротеньком овечьем тулупчике, немного потрепанном, с клеймами и печатями армейских кастаньянов. Ого, трофейный. Нет, наш, армейский. Вон и нашивки русские.

Он выхватил из кармана балахона револьвер и приставил к ее виску. Он вроде как шутил. Лицо его перекопилось. Она бесстрашно заглянула ему в лицо. Эти губы только что целовали ее.

– Ну, убей меня. Убей!

– Жирно будет сразу.

Он криво улыбнулся. Он не понимал, что с ним творилось. Он шутил?! Возможно. Пусть она засмеется. Засмеется громко. Тогда он поверит, что он пошутил. Она не смеется. Это – правда?!

– Не здесь, – сказала она, и припухший, еще не остывший от поцелуя рот дрогнул, – пойдём скорей. На волю. На ветер. Там... танк покалеченный стоит. Здесь тоже были бои. Его подорвали. Он горел. Он стоит за гостиницей... там нужник и вольера для кроликов... Кроликов всех съели. Я сама готовила из них жаркое на кухне. Я буду любить тебя в тени танка. А потом ты убьёшь меня.

Да она не шутит. Она серьёзно. О Господи.

– Согласен, – сказал он ледяным голосом. Сердце его под бляхами балахона звенело и танцевало. Он наклонился, поднял автомат с полу. Ремень прорезал ему плечо. Так же резал плечо Бог ремень, когда Он волок Крест на Лысую гору. Что, тяжело Ему было?! Откуда тебе знать.

Пары, натанцевавшись, обнимались в углах прокуренной залы, лежали, схватившись друг за друга, на полу. В тепле. Им тепло. А они сейчас пойдут на холод. Юргенс подтащил Кармелу к окну. Прыгай. Из окна – в ночь. Ты же ловкая. Ты тоже ловкий. Кто кого переловчит. Кармела, твердо ступая по исхоженной с отрочества дороге, пошла вперед, он – за ней, снова вытянув револьвер, наставив дуло ей в затылок. Громадный танк маячил в отдалении. Заслонял непроглядной тушей небо и звезды. Обгорелый ствол пушки был нацелен в зенит, будто мертвый танкист хотел расстрелять Большую Медведицу.

Слева от танка висела красная Луна, справа – синяя. Их опять две. Проклятье. Их лучи скрещивались, и окалина брони отсвечивала зеленым.

Кармела остановилась прямо перед пушкой. Звезды густо сыпались на нее. Она страшно дрожала.

– Раздевайся, – сказала.

Сбросила с горла черную мантильку на острия камней, расстегнула тулуп. Сильными, привыкшими к щеткам и тряпкам пальцами разорвала муар платья сверху донизу – от горла до колен.

– Холодно же, – сказал Юргенс, ежась, – холодно, холодно! Ты сошла с ума. Мы замерзнем. Ты... замерзнешь.

Она усмехнулась:

– Жалостливый.

Его начало трясти. Чтоб утишить дрожь, он вытащил из-за пазухи мародерскую добычу – складной нож, сдернутый им с одного из убитых им солдат. Нож в виде меч-рыбы, старинной северной работы. Приставил стальную рыбу к горлу Кармелы. Какой смех! Как он пугает ее. Это они так играют. Почему бы не поиграть в смерть на Войне. Ведь Война идет и пройдет когда-нибудь. А мы останемся жить. Смерть – это тоже жизнь. Многие верят, что там – жизнь иная. Какая? Есть ли там складные ножи? Женские груди? Запах водки... пули, всаженные в испытывающее боль тело? Если там нет тел – где тогда живут бессмертные души?!

Так и стояли: она лихорадочно раздевалась догола на морозе, под свистящей метелью, глядя на Юргенса глазами яркими, как два морозных Сириуса, а он держал револьвер – у ее виска и нож – у ее горла.

– С выстреливающим лезвием, – блеснув умалишенными радужками, хвастливо выхрипнул он.

И сам, одиноко, рассмеялся.

Горы ответили эхом – оно раскатилось меж гольцов, как порванные бусы.

– Раздевайся! – дико, на пределе голоса, завопила она.

Он кинул на камни револьвер. Бросил нож. Сдернул, сбросил с плеч автомат. Лягнул его ногой, и он покатился по камням, во тьму. Раздался грохот. Потом все смолкло. Он смекнул, в чем было дело. Танк стоял на краю пропасти. Это к лучшему. Это очень удобно. Он сам сбросит ее тело туда, после того, как.....

.....он вытряхивал из карманов, карманчиков и карманишков все оружие, какое только было при себе у него: ядовитые аэрозоли, мини-огнеметы, кольты, вальтеры, гранаты разных смешных форм, ножи и ножички, кастеты и лезвия в чехлах, – он вываливал наземь все это добро, и по крутосклону горы Юргенсово богатство стремительно катилось в пропасть, но он не жалел, он оставлял только то, что понадобится, он же все точно рассчитал!.....

.....как он убьет прекрасную Кармелу складным ножом в виде меч-рыбы, и лезвие выстрелит ей под левую лопатку. Вот она голая стоит. Какая красавица. Мысли его холодны, как ночной снег. Где его желанье? Чтобы нож вошел под лопатку этой прекрасной женщины, надо для начала ее обнять. А чтоб ее обнять и поиграть с нею в любовь – потешь девочку, доставь ей последнюю радость! – надо раздеться. Ничего не поделаешь. Придется мерзнуть. И звезды пронзят его. Пройдут навывлет, под ребра. Белые Божьи пули. К черту звезды. К черту Бога. Он разденется. Он покажет ей ночь любви.

– Сними с меня эти шмотки!

Она расстегивала на нем заклепки, пуговицы и стальные крючки. Она стаскивала с него болотную рясу балахона, прорезиненный комбинезон, поддетый внутрь распахайку-маскхалат, тяжелый, как кувалда, бронежилет, скафандровые налокотники, кольчужный нагрудник, пропитанные огнеупорным раствором утюги-бутсы, и румяным торжеством полыхало на морозе ее нежное лицо. Она расстилала военные убийственные тряпки под их ногами, на заметных снегом камнях. Ее звездные глаза ликовали. Ложе их – обмундированье. Крыша их – тень от сожженного танка. И знамя над их шатром – дегтярное небо, полное огней.

Молодое сильное тело Юргенса, схваченное судорогами, выплескивалось из опостылевших доспехов на синий мороз. Она все еще думает, что он шутит. Играет. Кто с кем шутит, непонятно. Звезды звенят от мороза. Звенят промерзшие камни под ногами. Волчицей воеет пурга. Голый, напуганный, со сжатым в нитку ртом, с перевязанной выше локтя окровавленной рукой, с ножом в кулаке, стоял Юргенс перед Кармелой. И она засмеялась, обняла его и запрыгнула на него, обхватив его спину ногами.

Они рухнули на сваленные в кучу одеяния. Пушка танка вытягивалась над ними черной рукой. Руки и ноги их перепутались. Они были две змеи, оплетшие друг друга. Лежи на мне, как дельфин. А ты сиди на мне, как сфинкс. Отразись во мне – зеркале, а потом разбей меня, и каждый осколок целуй. Соски мои – звезды. Из них струятся звезды и планеты. Я родила мир. Я родила все. Я тебя тоже родила. Не холодно тебе? Нет. Ни капли. Это странно. Я думал, мы застынем вмиг.

Соединились они неразъемно и неистово. Дыханье замерло. Из спин и голеней, оцарапанных о клыки камней, текла кровь. Они не чувляли мороза. Они забыли о близкой пропасти. Они сходили с ума друг от друга. Они не слышали звенящего шороха звезд, метеоров и болидов. Он так ее обхватил, что хрустнули, напрягшись, по-птичьи хрупкие косточки ее выпирающих жалких ключиц. Он летел в ней, внутри нее, как черный летчик, Ангел небесный, летел в высоком холодном небе. Он летел над ней, как опьяненный своим первым небом коршуненок; раскинув руки, сведя в стрелу ноги, он летел над ней, паря и покачиваясь в мареве красно-синего света двух Лун. Он целовал руками-крыльями ее миры, плывущие под ним – и синие, вольно текущие реки переплетенных жил, и смугло-закаленные, выжженные степи гладких лопаток, и таежный пожар буреломных ребер, и океан вздымающегося живота, и хитрых куниц – разбегающиеся в стороны резвые брови, и ледяные острые выступы плеч-гольцов – он летел над ней, века и тысячелетья любимой, кружил безостановочно, сшивал неуклюжими стежками долгого молитвенного полета ее драгоценные аквамаринные лесные озера и горько-перечные моря, разбегающиеся материки – разноцветные лоскутья вечно неглаженных, застиранных, пропахших рыбою, нефтью и смолою, дымом, цветами и вьюгами дешевых платьев; крестил крестом своего летящего тела ее слепящую живую ширь, ее светлую грозную благодать, – он летел над

ней, над безумной Кармелой, и, обнимая ее полетом, он понял вдруг – он пролетает ее навывлет, насквозь, ОН ВЫЛЕТАЕТ ИЗ НЕЕ ВОН – в пустоту.

Он понял – это конец. Катастрофа. Это не он убивает ее. Это она выталкивает его из себя. Лишает воздуха и боли. Он боли уже не чувствует. Он летит в пустоте. Без нее, один. Опять один. Нет, вот же она! Вот! Обхватить. Прижать. Сильней. Чтоб никогда не вырвалась. Моя. Всегда. Вечно. Моя прекрасная Кармела. Где мой нож?! О-о-о!

Невероятная боль молнией пронизала его от темени до пят. Он сотрясся и скорчился. Понял, что умирает. Догадался, что Кармела убила его, а не он убил ее. Он прозрел. Губы его свел мороз судорогой. Он захохотал. Хохот его походил на хрип сползающего вниз ледника в узком горле ущелья.

ОНА УБИЛА ЕГО ЛЮБОВЬЮ. ТОЛЬКО И ВСЕГО.

И НЕ НАДО ПОСЛЕДНЕЙ ПУЛИ.

НО Я ЕЩЕ ВЗМАЛИВАЮСЬ ТЕБЕ, ГОСПОДИ. ЗНАЧИТ, Я ЕЩЕ ЖИВУ.

ПОЧЕМУ НА МЕНЯ СМОТРИТ ИЗ ЧЕРНОГО НЕБА СИНИЙ ГЛАЗ?!

На него смотрела из черного зенита огромная и ледяная ярко-синяя звезда. Огромный сапфир. Какие драгоценности валяются в небе без присмотра.

А может, это Глаз Дангма?! Третий Глаз Великого Будды Шакьямуни, царевича Сиддхартхи?!

– Убей меня совсем, добей, Кармела, – прохрипел он. Он обхватил ее ноги ногами. При- тиснул намертво к себе. – Пожалей... Где мой нож... тут... вот – был же... потерял!.. старин- ной северной работы... где?!

Он хрипел и шарил, щупал вокруг себя острые, холодные рубила камней, царапал землю вдоль бьющихся в ночи ослепительных бедер Кармелы скрюченными пальцами.

– Я для тебя его приготовил... дурак!.. найди нож!.. Прикончи меня!.. Я не хочу...

Слова оборвались, как старая леска.

Руки и ноги Кармелы замком сомкнулись у него на спине.

Сознание отлетело от него птицей. Как холодно было. Кармела обнимала неподвижное тело. Она ничего не поняла. Когда поняла – стала в ужасе сбрасывать его с себя. Вмиг огуз- невшие руки и ноги, железная клетка ребер, застывшая счастливая улыбка вызвали в ней ужас, священный, первобытный. Она отклеивала его от себя, отдирала. Она в отчаянии пыталась оживить его. Ее любовник, ее убийца. Солдатик Зимней Войны. Как это он не обделался в первом бою. Не может быть, чтоб он умер от любви, в любви. Да и какая это любовь у них, здесь, на жутком холоду. Близ мертвого танка. Она дышала ему в рот, мяла ребра. Вдавливала в мышцы закаменевшие пальцы. Нашупывала везде – на висках, груди, на затылке – тайные точки восточных раскосых врачей. Бормотала:

– Ну ты что... ты что это!.. а... ты же со мной шутил... я же – шутила с тобой... лишь одна Война – не шутка... она – настоящая... очнись... ты замерз...

Ее пронзило: Война. Сегодня она еще дышит. Завтра разорвется под ее ногами снаряд – она упадет, будет хрипеть и задыхаться. Подняв к небу прекрасное, перекошенное ужасом лицо, она завывала, как волчица, от тоски и боли. Нашарила на замерзлой земле, у себя под головой, нож. Это про него все твердил сумасшедший солдат. Она цапнула нож голой рукой прямо за лезвие, обрезав ладонь в кровь. Закричала, и эхо отдалось в ледяной ночи, в горах:

– О-о-о-о... у-у-у-у... о-о, Господь!.. Какой счастливый этот солдат... он уже от страда- ний избавился... а я... а я!.. Я же никогда... не смогу... сама...

Она рывком выпросталась из-под него. Расширенными глазами глядела на свою корич- невую кровь; капли медленно капали с ее лунной ладони.

Кармела размахнулась и швырнула нож. Он ударился о камни со звоном, покатился. Гос- поди, а парень-то умер по правде, видать. Война. На войне можно помереть как хочешь. Даже так. Смешно. Кому ни расскажи – не поверят. Поглумятся. И над ним, и над ней.

Она страшно засмеялась – так клекочут в горах пестрые птицы, кладущие яйца в расщелины скал. Пушка танка бросала кривую тень на ее залитое лунным светом, как слезами, лицо. Она была голая, и живот ее мерз. Подхватив Юргенса под мышки, она с трудом, обливаясь потом, застывающим на морозе иголками льда, оттащила его от танковой гусеницы, подволокла ближе к обрыву, к самому краю, и, зажмурившись, столкнула, сбросила в пропасть.

Он сильно разбился. Он остался жив.

Они с Кармелой долго потом смеялись над его переломанными ребрами. Ты сбросила меня в пропасть, говорил он ей, хохоча, сжимая ее лицо в ладонях, а я вот выжил, а я вот тебя зачем-то по-настоящему полюбил. Да не любишь ты меня, отмахивалась она, как от мухи, это все вранье и словеса. Тебе просто нужна баба на Войне. А я покладистая. Я могу и по хозяйству. И в постели я тоже ничего.

Ничего?! Он хохотал еще громче. Облапывал ее грубо, по-медвежьи.

Он был без сознания, когда его наутро солдаты из Двадцать третьего дивизиона тащили со дна ущелья крючьями, прицепленными к длинным веревкам; железные крючья плохо зацепляли голое тело, оскальзывались, пропарывали обмороженную кожу. Голый человек приходил в сознание, стонал. Его вытянули вверх. Его растирали чистым спиртом, а спирт на Войне был на вес золота. Командир дивизиона так потом и сказал ему, как отрубил: ты у меня золотой солдат, как золотой Будда, Дважды Рожденный. Я тебе лучшую девку в Зимней Армии сосватаю. Да вот она, гляди, вон стоит поодаль, на тебя пялится; пусть она тебя и выхаживает. Уж очень сильно ты промерз, парень. Как бы тебе наши хирурги пальчики не оттяпали. А то и лапку обмороженную.

Спирт горел, поджигал факелами тело. Как он не орал от боли? Ему было стыдно женщины. Он-то ее сразу узнал. А они, мужики, так и не узнали никогда, что было и как.

И старый, с гусиной шеей, танк смолчал, не выдал.

Рев входящих в пике самолетов рвал уши. Боже, как бездарно кончался век. Как надоела Война. Командир взвода стоял на морозе без каски, прикуривал. Юргенс прищурился. Далеко, на срезанном будто громадным тесаком склоне гольца, медленно, как в бреду, двигались трактора с тяжелыми гаубицами на прицепах. Какими допотопными орудьями они вынуждены вести эту Войну. А еще брехали: если уж разразится Война, так никто не выживет; и небеса расколются; и она будет Последней; и огонь пожрет и твердь, и людей, и... Все оказалось гораздо проще. Обыденней. Люди не научились воевать лучше или хуже. Люди накопили оружия столько, что могли б раскатать в Космосе тесто для целой новой планеты и, как в пирог, запечь внутрь нее все железо, заготовленное для убийства.

Орудья чернели, облепленные кишашими солдатами. Завтра новый бой. Наступление. Почему он, Юргенс, не лошадь, а человек? Его бы ранили в бою, и, раненого, пристрелили. Раненого коня на Войне не вылечивают.

Он раздул ноздри. От ящиков с толом, стоящих друг на друге перед крыльцом командирской избенки, шел луковый дух. Вот и смерть пахнет простой человеческой едой. Где Кармела? Кармела, военная жена. Какая она ему жена, Господи прости. Он бросит ее, как спичку. Если надо. Но сейчас пока не надо. Еще она ему нужна. Для чего?! Для спанья?!

Он, глядя на курящего командира взвода, тоже вытащил из-за голенища пачку сигарет, спички, чиркнул спичкой, закурил. Сигареты самодельные. Кармела изготовляла. Солдатики на руках ее носят здесь, в горах, за сигареты. Курить, как и женщину, охота всегда. Иногда охота и спирту. Вместо спирта в мензурке ротный показывает тебе глыбистый чугунный кулак. Подносит к носу. Нюхал?! Здесь тебе и питье, и еда. В атаку пойдешь – может, доктора расщедрятся, спиртику брызнут немного. На дно твоей каски, ежели она не дырявая.

Каски с дырками геройскими считаются. Дырка – значит, почетная отметина. Лучше ордена. Орден в миру пропить можно, выменять, подарить. Дырявую каску у тебя никто не отнимет, и ты сам ее никому не подаришь. Тебя в ней, в дырявой, в братскую могилу положат.

Хорошо, если – в могилу. Не хочешь лечь просто костыми, в поле. Как это тебя, такого тяжелого быка, худышка Кармела одна в пропасть сбросила?!

И ведь ты не в обиде на нее. Не в обиде, сознайся. Ведь это ты сам хотел убить ее. И вот вы оба живы.

Он докурил сигарету, бросил окурочок, придавил пяткой, тяжелым сапогом. Натянул плотнее на лоб, на брови шлем и подшлемник. Мы все святые, Господи. У нас на головах нимбы. Нимбы солдат Войны. И я без каски. Я в шлеме. Если пуля попадет в голову – прошьет сразу, насквозь. Так мне и надо. Я простой пес Войны. Я собака Войны. Собак пристреливают. Лошадей пристреливают. Кони ржут, прощаясь. Псы воют перед смертью. Мне часто снятся собаки. Они мне такие родные. Я тоже собака; я просто собака. Я вою из-под шлема, молча вою в мохнатые морозные просторы, затянутые плевой черной гари.

Какая ночь. Глубокий мрак. Угольный мешок. Бог тоже угольщик, Он таскает тьму в мешках. Ему тяжело, спина Его покрывается потом, и сквозь зубы Он шепчет страшные мужицкие слова.

Военная ночь. И крупные звезды над горами.

И они снова появляются, возникают на конях из-за скал. Они прошли проклятыми дорогами, переходами, засыпанными метелью и золой трактами. Сегодня их бой.

Голец, возвышающийся над всадниками, похож на чугунный черный памятник. Кому? Чему? Офицеры едут молча. Кони осторожно ступают на острые камни тропы, осыпающиеся под копытами. Фонари далеко, тускло горят на КПП. Слышна далекая, призрачная команда: сто-о-о-ой!.. И опять тихо. Лишь звезды перешептываются, морозно шуршат, как застывшие слезы, на выпачканном непроглядной сажей лике неба.

Впереди шеренги коней – старая, допотопная машина. Кто?! Командующий, генерал от кавалерии Исупов!.. Врешь, дядька, Исупов полковник. Я – дед его. Серебряные усы; жесткий римский ли, северный ли профиль, вытесанный Богом в долгих, бесконечных боях, перемещениях, отступлениях, дислокациях; генеральская шинель тускло, перламутрово серебрится – инеем ли, ворсом ли драпа. Вы видите на горе Дворец, офицеры?.. А как же!.. Так точно, видим!.. Нам предстоит его защищать. Там... Там плохо, господин генерал!.. По окнам стреляли, все стекла повывбили... кресла на полу кверху ногами валяются... зеркала в спальнях лица чертей отражают... а дыму, дыму!.. все затянуто дымом, как сном...

Мы должны его защитить. Вы, офицеры. Вы, солдаты. Слушайте! Это наш последний бой.

Вы! Юнкера! Гордость России! Это ваш последний...

Из-за гранитного горного уступа выскочили внепно юнкера – золотые погоны блестели в ночной тьме у них на плечах, они бежали тяжело, марш-бросок по горам дался им с трудом, они запыхались, отдувались, щеки у них были мокрые, вспотевшие, и на юных румяных лицах ни единой улыбки. Как по команде, они вдруг упали на колени в снег, сорвали с плеч ружья, прицелились. Пли!.. Нестройные залпы раздалась в хрустальном надмирном воздухе. Кто выкрикнул команду?!..

Бой начался.

Он начался буднично и незаметно, с одной невпопад выпаленной команды, с созерцанья призрачного золотого Дворца, стоящего на вершине горы, будто висящего золотой и хрустальной виноградной гроздью высоко в черном небе. Гулко грохотали сапоги по зальделым камням. Офицеры натянули поводья лошадей, сжав зубы, пригнулись к лошадиным холкам. Генерал вылез из машины, и ему подвели коня. Генерал не пригнулся. Он не защищал от пуль свой лоб. Он сидел на коне прямо, выражая прямой и гордой посадкой свое презрение к смерти.

– Капитан Серебряков! – крикнул он, отдув от губы седой волос. – Молодцы ваши юнкера! Хвалю!

Тот, кого называли Серебряковым, поправил на подбородке ремень фуражки, залихватски подмигнул стреляющим юнкерам. С противоположной стороны, от вражеского КПП, с отрогов хребта Субугай, раздавались ответные выстрелы. Серебряков вытащил из кобуры кольт, и опустелая раскрытая, как волчья пасть, кобура билась у него на бедре, и конь плясал под ним грациозную, воспаленную пляску, перебирал ногами. Серебряков грозно поглядел на мальчиков, беспорядочно палящих из старого образца ружей. Поиграл кольтом. Вскинул оружие вверх. Выстрелил, и эхо выстрела раскатилось в горах, в ночной черной сини.

– Ребята!.. Вы сражаетесь под русскими звездами!.. В ваших подсумках – наше будущее!.. Наша, великая Россия!.. Нам больше не нужна будет кровь!.. Не нужны будут великие сраженья!.. Это последнее сражение, ребята, так умрем же за правое дело!.. Умрем за Россию, грядущую... счастливую!..

Юнкера ответили нестройным, воодушевленным гулом. Потные лица их блестели лихорадочным румянцем боя. Офицеры, вытаскивая револьверы из кобур, безотрывно глядели вдаль, на склоны хребта Хамар-Дабан, где на обрыве высился призрачный Дворец. Да полно, господа, уж есть ли Дворец наш на самом деле?.. Я не уверен, господин Хворостовский. Что же мы защищаем, господа?!.. Еще одно слово, поручик, и я пристрелю вас на месте, как собаку! В горы! Только в горы! Вперед! Даже если под вами убьют коня – бегите пешком, стреляйте, сражайтесь! У нас нет иного пути, милый, дорогой!..

Огромная цепь всадников забытой Армии вилась и вилась, сползая с горы вниз, к подножью, и вслед за офицерами ехали денщики, вслед за денщиками – оруженосцы с пулеметами на ржавых скрипучих колесах, с пушками на тележках, с бочками пороха, притороченными к седлам лошадей, а вслед за ними ехали солдаты, солдаты мертвой русской Армии, великая конница, и лошади танцевали и поднимали ноги, как балерины, и лезвия сабель и шашек просверкивали под крупными ночными звездами, и с глухими ругательствами в руки брались ружья, сдернутые с плеч, затянутых в серые одинаковые, безликие шинели, и камни гор сыпались и закипали каменным кипятком под градом вражеских пуль, под ударами конских копыт, и с вражеской стороны, захлебываясь и опять возвышая стрекочущий голос, застрочил пулемет, и офицеры и солдаты стали падать, хватаясь за окровавленные бока, чертыхаясь, поминая всех святых и Божью Матушку, и юнкера приседали, садились на корточки, закрывая затылки руками, падали на заиндевелую тропу, утыкаясь щеками в острые ножевые камни, раздирая в кровь Ангельские, молодые лица, – а пулемет все строчил, кося людей, и офицеры кричали благим матом:

– Стервы!.. Стервы!.. Они лупят разрывными!.. Ложись!.. Ложись!..

– А это что такое, вот, рядом?!.. Братцы!.. Железная же дорога!.. здесь, в горах... и станция может быть близко... до штурма Дворца – успеть взять станцию!.. Это мысль!..

Рельсы блестели под Луной солено-чешуйным, тускло-серебряным светом, как две длинные рыбины-чехонины. Послышался перестук, морозное шуршанье. Дрезина, пустая и страшная, стуча на стыках колесами, вывернулась из-за поворота и гремела по железному полотну, дразня своей безнаказанностью и ненужностью никому. Юнкера завопили:

– Поймать!.. Изловить!.. Прыгай туда, Пашка!.. Она до самой вражьей Ставки доведет!.. Героем станешь!..

Генерал, выпрямившись, как аршин проглотив, сидел на коне. Прямо у его ног лежал убитый денщик. Боже, вот жизнь. Суета, зажиганье свечей, пироги в Рождество, саблю наточить, ствол ружья шомполом почистить; стоять ночь напролет у ярко освещенных окон телеграфа, пытаясь отправить срочную телеграмму – не военную, нет, – любимой женщине: «ВСЕГДА ТОБОЙ ЖДИ ВЕРНУСЬ МЕНЯ НЕ УБЬЮТ ТВОЕЙ». А сквозь оконное стекло слышится треск и верещанье немислимых телеграфных железяк, передающих на расстоянье – что?.. мысль, чувство?.. – посылающих сухие буквы, в которых – весь ужас, вся надежда...

С хребта Субугай стрелял враг. Уже было хорошо видно рассыпанные по отлогам и крутосклонам, напрочь заснеженным, будто укрытым праздничной Новогодней ватой, солдатские цепи, рассредоточенные в холодном ночном пространстве. Противник палил без перерыва, и ряды Армейцев начали редеть. Белый, светлый Крест созвездья Лебеда! Ты летишь, звездный белый Лебедь, раскинув крылья, над неравной битвой. Силы всегда неравны. Ты лучше всех знаешь, белый Лебедь, что не победит никто.

Юнкер Пашка впрыгнул в катящуюся пустую дрезину. Тут же на вагонетку налетела туча юнкеров, как зимние пчелы, они зажужжали, облепили повозку, взгромозились на нее, засвистели, завопили: поехали!.. И-эх, ма, не страшна и смерть сама!.. Дрезина стучала колесами – вперед, вперед. Мальчишки свешивались с повозки гроздьями. Возле вытянутых в бесконечность стальных, с селедочным блеском, рельсов стоял человек. Юнкера весело закричали ему:

– Эй!.. Ты с нами?!.. Ты против нас?!..

– Стреляй в него, ребята!.. Это враг!..

– Не стреляй, Андрей, видишь, какая длинная у него шинель... по пяткам бьет... как наша... у нас такие шьют... в училище мы в таких – ходили... на плацу...

– А на башке – куколь... как у Петрушки...

– Давай к нам!.. К нам!.. В дрезину, сюда!..

Человек, высокий, в небо дыра, как пожарная каланча, глядел на вопящих мальчишек молча, из-под островерхого башлыка, из-под тряпок и марли и платков, коими от мороза было замотано его лицо. Серые, прозрачные, зелено-озерные скорбные глаза прожигали сумасшедшую лунную ночь. Ноги его были обуты в рваные, стоптанные до безобразья сапоги, и подошвы прикручены к кожаным разбитым мордам веревкой. На руке он держал винтовку, как девушку в нежном бальном танце. Штык упирался в звезды. Штык трогал острием Денеб – самую яркую звезду в созвездии Лебеда, синюю, как сапфировый кабошон. Было видно, как человек замерз: он то и дело подносил к губам руку, обмотанную тряпьем – перчатки, что подарила ему жена – сама их шила, сама вывязывала фамильные вензеля на тыльной кожаной стороне!.. – сгорели в пожарищах Войны, в веренице утрат, – лишь образок остался, что супруга надела ему на шею, вот он, под шинелью, жжет и холодит ключицы, это святой Николай, родной святой Руси, он всегда поможет... он пошлет легкую смерть, если хорошо попросить... – и, наперекор холоду, вопреки всей зверьей лютости мира, пославшего своим людям эту нечеловеческую Войну, горели, горели вольные, летящие глаза человека, мужчины, созерцавшего с оружием в руке бой и не вступившего в него.

– Эге-гей!.. Прощай!.. Мы едем умирать!.. Помяни нас во Царствии своем!..

Он взмахнул винтовкой, прощаясь с обреченными юнкерами. Когда же кончится ужас. Когда завершится круг времен и с лица земли исчезнет дикая тяга убивать. Он знал, что есть враг, и его надо уничтожить. Он устал уничтожать. Он хотел уйти с обмороженной, выставшей, жесткой, как кованое серебряное блюдо, поверхности земли – внутрь, в землю. Там жар. Там гремят Преисподние трубы. Там черти жарят на сковородах всех, кто предал и продал Родину. Но там тепло. Там нет мороза. Там... образок святого Николы, ты поможешь ему и в Аду. Ад здесь, в горах, не страшней Ада там. Эшелон, в котором его, арестованного, везли в заключение, на суд и на смерть, разбомбили. Он не знает теперь, где Семья. Он остался один. Ни карманной Библии с собою. Ни одной драгоценности, чтоб купить у вражьего офицера право на жизнь. Лишь винтовка, и немного патронов, и образок святителя Николая, тезки, на груди. Это все. Найдет ли он своих?! Как они... где они... Как там она, особенно, неизбывно любимая, младшая дочка... светленькая, вся в мать... И мальчик... не дай Бог, они найдут и убьют мальчика... Господи, спаси, сохрани...

Голубые лучи вражеских прожекторов, прочесывающих ночную пустыню, заматались, заходили по небу, по горам, по железной дороге, как Северное Сиянье. Кто враг?! Нам неизвестна его дислокация. Нет огня. Нет тепла. Ни костер разжечь. Ни влезть в вагон эшелона, в

вожделенную теплушку, чтоб там скрючиться, засунуть руки меж коленей, под зад, согреться, вскипятить кружку крепкого тюремного чаю. А, ты сажал своих мужиков в тюрьмы. Ты подписывал указы. Отправлял на каторгу убийц. Миловал раскаявшихся. И все равно ты не знал, что такое – мороз. Лютый холод. Одиночество. Война. Ты ничего не знал о Войне. А вот ты окунулся в нее. Ты вкусил ее, как вкушал хлеб и вино в Церкви, плоть и кровь Божию, Святые Дары. Подними голову! Видишь, вот он, Денеб, а вот пониже и Сириус, а вот и кровавая звезда Марс. Синий цвет, красный свет. Самые горячие звезды белые. Он это помнил из курса астрономии, что во Дворце преподавал ему старый француз-гувернер. Белый серебряный крест на груди. Белые волосы Николы. Белые горы. Белый снег. Белый вдовый плат Царицы, Княгини.

Он воткнул штык в снег, оперся на винтовку и тяжело, бесслезно зарыдал.

Звезды равнодушно светили на него сверху, из эмпиреев.

А офицеры уже закусили удила. Они рвались в бой. Дворец сиял и мигал всеми потусторонними огнями на горе. Солдаты, кусая рты почернелыми от цынки зубами, нацеливали винтовки, спрыгивали с коней, ставили на уступы скал пулеметы. Тачанки тянулись, подтягивались с левого фланга. Вражеские отряды приближались. А мы?!.. а наших тут, почитай, весь дивизион!.. Не робей, ребята!.. Прорвемся!.. Рванем облегченной рысью!.. У них пушки помощнее наших будут... оружие у нас, братцы, старое... разгромят нас в пух!.. но мы все одно не сдадимся!.. А мы же герои!.. нас такими мамка сразу родила... ура-а-а!.. ура-а-а-а!..

Мортиры, похожие на мордастых моржей, стояли, нацеленные на подножье хребта Субугай. Винтовки и пулеметы так и плясали, горели в руках, и солдаты срывали зубами с рук рукавицы, чтоб ловчей, удобней было заряжать, наводить, запаливать. По снегу были разбросаны, как черные и серебристые, медные ягоды, патроны, и юнкера и солдаты поднимали их, всаживали в нутро винтовок, молились, шептали заговоры и заклинанья: порази врага, а меня оставь в живых.

– Падаем, ребята, вниз с горы!.. Они же бегут навстречу нам... наперерез!..

– Ну, с Богом... Матушка, Владычица, Царица небесная... помоги!..

Многие крестились. Рассветом и не пахло. Ночь сгущала неистовую потемь над головами в капюшонах шинелей, в шапках и башлыках, в сибирских ушанках и кожаных, изнутри выложенных мехом шлемах, и звезды сыпались на сражающихся, как сыплот хмель на новобрачных, когда они, смеясь, идут к снежной возмечтанной постели.

Вражеские солдаты бежали навстречу нам. Мы – последние солдаты Белой Армии. Мы – офицеры звезд. Мы – последняя воля нашей истерзанной земли. Где наш Царь?! Нету нашего Царя. Арестовали. Убили. Замучали до смерти. Но вот его Дворец. Может, это призрак, господа, а?!.. это нам блазнится, от голода, от ужаса, от отчаянья... Нет! Нет! Ты видишь, он – настоящий! И мы сразимся за него! И мы вернем России честь и славу! Ура!

Черные цепи живых солдат и серые, в серебристо посверкивающих под звездами шинелях, – мертвой Армии – слились, натолкнулись друг на друга, сцепились: гул и крики, и рукопашная каша, и отрывочные, беспорядочно-бредовые сухие высрелы, будто кто клацал костяшками по доскам гроба: цок-цок, цок-цок. В сухое цоканье врезался непрерывный, оголтелый лязг пулемета. Вопль из сотен глоток, взвихрившись поземкой, поднялся к небу безумной вьюгой. Мы будем сражаться до последней крови. Мы будем сражаться до того, пока последний солдат не выпалит из своей старенькой винтовочки в вас, в тебя, посягнувшего на Святое... на самое Святое, самое Тайное...

Вперед! Ура! Рядом рельсы! Здесь, дураки, поезд командира корпуса! И у нас еще есть запасные пушки! И те ребята, юнкера, что укатили отсюда на дрезине, сейчас доберутся до расположенья нашей части, и снарядят эшелон, и пусть вы лишите нас и электричества, и телеграфа, и перекроете все дороги к продовольственным складам, и к нашему тайному арсеналу уже нельзя будет добраться, мы все равно будем сражаться!.. наша конница еще жива... еще скрипят пушки, и мы их подтащим поближе к вам, чтоб выстрелить наверняка... да, наша

пехота устала, наши солдаты не евши целый век... они исхудали, у них мало телесных сил, но дух!.. дух, звери, из нас ничем не вытравить!.. Вы нас – в снега! в горы! в осаду! в кольцо!.. – а мы вас – мощью распахнутых глаз своих, последней своею молитвой, вырвавшейся из груди вихрем: Отче Наш, иже еси на небеси!.. Вон они, звезды! И они – с нами!

Пушки бухали с паузами-вздохами: бух!.. – а-ах... – бух-х!.. – а-а-ах... Ядро попало в гущу конных офицеров, и генерал, так же прямо сидящий на коне, бесстрастно наблюдал, как летит в стороны разорванное в клочья человеческое мясо, как корчатся на земле люди, пытаясь затолкать в разорванные чрева бьющиеся, переливающиеся кишки, и орут, раскрываясь, разрываясь в непрерывном крике, человеческие рты – и это уже были не люди, это было мясо для пушек, и пушки смеялись черными молчащими ртами, а люди орали, а люди готовы были стать железными пушками, чтобы только прекратилась безбожная боль внутри их разорванных тел, чтобы милосердный Бог – да есть ли Ты, Бог?!.. – прервал серебряную нить жизни, которой малый человек подцеплен к небесам. Здесь, в горах, своя, буддийская вера. Здесь буряты и монголы верят, что ты привязан к Богу серебряной нитью, и она свешивается на землю из-за туч, и тебя ведут, а ты как теленок, идешь-бредешь, – а тут Война, и летят пули, и разрываются пушечные ядра, и рвется нить, и ты уже не знаешь, зачем ты родился.

Ты родился для смерти.

Смерть бывает славная и бесславная.

А еще бывает просто смерть, просто смерть, Пашка, милый, братец юнкер мой... я умираю... дай мне испить... воды... из фляги...

Юнкер поддерживал тяжело раненого офицера под голову. Генерал сидел на коне, молча, мрачно глядел на них. Юноша вздернул лицо, сощурился, удерживая в глазах слезы, поглядел на генерала с вызовом, с отчаяньем.

– Ваше благородье!.. – Голос парня срывался, бился во вьюге флагом. – Они нас окружают... несдобровать нам!.. В клещи нас взяли!.. А вы...

Генерал молчал. Он мог бы крикнуть мальчику: ложись. Сейчас раздастся выстрел, и тебе попадут в ногу или в руку. И ты не выживешь, потому что у нас тут, в горах, нету походного лазарета, и всех наших полковых хирургов перестреляли, и все медикаменты сторели, когда взорвали наш бронепоезд; и тебе не отрежут воспаленный, горящий кусок плоти, и ты не вернешься домой, к своей девушке, безрукий и безногий. И кровь твоя потечет по жилам, как густой черный деготь, и поднимется жар, и в бреду ты будешь повторять одно имя: Россия, Россия. А России нет. Нет уже такой страны на карте. Нет, мальчик милый! Расстреляй хоть всех картографов – нету. И тебе не надо жить в мертвой стране. Тебе лучше погибнуть. Сразу. Нам всем лучше погибнуть. Это лучший исход. Справедливый.

– Что молчишь, генерал?!.. – выкрикнул юнкер, стреляя в него глазами. – За кого воюем?!.. За Царя, которого уже нет?!.. За Родину, раскромсанную на части красными саблями?!.. За...

Генерал разлепил рот. Его конь запрядал ушами – снег набивался ему в ноздри, в междуглазье.

– Мы воюем, сынок, потому что так надо, – сказал он темно и просто. – Мы не можем предать себя. Потому что мы – это Россия.

– А наш враг?!.. Кто он?!.. – Отрок захлебывался в уже несдерживаемом, бесстыдном плаче. – Ты знаешь, кто он?!.. Назови его!.. Ведь это же свои!.. Это же люди одной с нами веры... одной крови... языка одного!.. Я все перепутал!.. Я не знаю... не знаю, за кого мне бороться!.. Мне!.. Мне, ты понимаешь, генерал!..

Лежащий на руках мальчика офицер выгнулся, вытянулся в последней смертной судороге и затих. Его белые глаза уставились в ночное небо, и в них отразились две звезды. Двойная звезда; мертвая Луна лица. Вот еще одна планета умерла. И никто, никто на свете не отмолит ее. Эту смерть. Вот эту, одну эту смерть.

– Закрой ему глаза, – сказал генерал. – Помолись.

– Некогда молиться! – крикнул мальчишка зло, и глаза его сверкнули, и блеснул на ресницах иней. – Бой идет! Надо в бой!

– Отче наш, – тяжело, опустив голову, промолвил генерал Исупов, – иже еси... да святится Имя Твое... да придет Царствие...

Он тронул поводья, повернул коня. Плачущий мальчик с мертвым офицером на руках остались позади, за хвостом коня, за его заиндевелым сизым крупом.

Вокруг него скакали, бежали, ползли, кричали. До исхода ночи было палкой не добросить. А что, если... эта ночь будет вечной? Он ехал на коне по горной тропе и видел, как лежит на животе, при поднимаясь на локтях, за камнями девушка в шинели, с голой головой, без шлема и без папахи в такой мороз, и через ее лоб летит косая челка, и она целится из винтовки во врага, бегущего снизу, из долины, вверх, в гору, – и он слышал, как девушка разлепляет запекшиеся губы и кричит:

– Пашка!.. за тебя... я отомщу... я же отлично стреляю!.. я убью еще одного... вон бежит!.. это – мой... мой!..

И она спускала курок, и медная пуля летела вдаль, и вдали слышался резкий короткий крик, и человек, враг, падал, и девушка смеялась обожженными, искусанными губами, и косо срезанную армейскими ножницами челку взвивал снежный ветер. И солдат, из вереницы присланного с гор подкрепления, вскочил с земли, весь облепленный снегом, как снеговик – снег прилип у него к башлыку, снег белыми погонами обнимал плечи, и спина и грудь, все серое сукно бедной, обтерханной шинелишки были в мазках и нашлепках чистого голубого снега, – бросился прямо под ноги коню полководца, и умный зверь чуть не напоролся на человека, но вовремя попятился, переступил, стараясь не повредить, не причинить боль тому, кто приручил и подчинил его.

Между скал зиял провал. Солдат, стоя перед мордой генеральского коня, как зачарованный, смотрел туда, в пустоту. Потом обернулся, и призрак Дворца ударил его по глазам веселым золотого света в ночи, будто б он, Дворец, был маленькое Солнце и испускал пучки веселых лучей, будто бы там, как прежде, веселились, склонялись в поклонах, приглашая на танец, целовали ручки, подписывали приказы и декларации, зажигали все тонкие свечи на огромных, как сказочные колеса, люстрах, и огни горели, и девушки с обнаженными плечиками смеялись, давая себя увлечь в танце далеко, далеко, и катилась с шеи жемчужная низка, и несли на подносах лакеи длинные фужеры с шампанским и мороженым, и из дальних анфилад выплывала, белой павой, снежной цесаркой, Царица-Мать, и за ней, цепляясь за ее пышную юбку, бежал малыш Цесаревич, услада родителей, надежда народа, и вдруг падал, растягивался на скользком паркете... и рев, и плач, и вой до неба... и на руки подхватить... и ногу забинтовать... перевязать чистой, снеговой марлей... нет, кровью истечет все равно... нет спасенья!.. исхода нет...

Солдат нагло протянул руку и попридержал генеральского коня под уздцы.

– Что ты?!.. спятил... бой же идет!.. отпусти лошадь!..

Солдат молчал. Пожирал запавшими глубоко под надбровные дуги, угольно тлеющими глазами бесстрастное лицо своего полководца.

– Дворец, – сказал солдат беззвучно, одними губами. – Дворец, там. В горах. Там пусто. Там никого нет. Он прозрачен. Сквозь стены можно пройти. Это сон. Ты ведешь нас в бой за сон, генерал.

Генерал зло, остервенело дернул повод, конь мотнул головой, выиграл, пристукнул копытами по камням, чуть не сбросил всадника с седла.

– Дурень!.. Может, по-твоему, я тоже сон?!

Солдат ощупал его глазами. Его небритое, в седой щетине, угластое, будто деревянное лицо горело изможденностью, верой и безумьем.

– И ты тоже сон, Генерал. – Вместо голоса у него из глотки выходил морозный хрип. – И я сон. И все наше войско сон. И вся наша битва – сон. Я сейчас крикну всем, чтоб кинули оружие. Чтоб прекратили биться. Это все ложь. Все обман. Все обман, слышишь ли ты, генерал!

Солдат в измазанной снегом шинели сорвал с себя башлык. Звезды осветили его бритую голову в пятнах седины. Сквозь долыса обритое темя просвечивал чудовищный шрам от сабли. У него в бою был рассечен саблей череп. Как сросся?! Неведомо. Бог срастил. Он сорвал со спины тяжелую винтовку германского старого образца, подкинул ее над головой и завопил что было мочи:

– Люди!.. Люди мои!.. Солдаты!.. Офицеры!.. Юнкера-а-а!.. Слушай мою команду!.. Бросай оружие!.. Ложись на снег!.. Вверх лицом ложись!.. Гляди на звезды!.. Наша песня спета!.. Нас обманули!.. Мы всю жизнь воевали!.. За что?!.. За что?!.. Проклятая война!.. Мы... себе стреляем в грудь!.. В себя целимся!.. У нас больше нет Царя!.. Нет России!.. Мы в чужих горах... здесь... сколько зим, сколько... время сместилось, сошло с оси!.. Нельзя идти по кругу, люди!.. Надо вырваться!.. Надо бросить Войне вызов!.. Надо воевать не друг с другом... не враг с врагом... а с Войной!.. Оружье броса-а-а-а-ай!..

Он сам отшвырнул далеко от себя железную острогу винтовки, и с грохотом и лязгом она покатила по камням, а зиянье черной дыры, пасть пропасти была рядом, и винтовка ухнула туда, продолжая грохотать, а тут офицерик маленького росточка, в припорошенных снегом золотых эполетах, встал, вытянулся, как луковый росток, и завопил тонким тенорком: в атаку!.. – и крик офицерика перекрыл вопль солдата, и люди, будто ждали этого поднимающего, яростного петушиного крика, воспрянули, вскочили, выставили штыки ружей, выхватили из-за поясов наганы и кольты, пришпорили коней, – а раненые лошади дрыгали ногами, корчились, и живые кони переступали, перепрыгивали через павших собратьев, храпя, кося умалишенными ежевичинами глаз, – и с гиканьем, криками, свистами, подбадривая себя красотой последнего порыва, побежали, полетели, понеслись, и бедный крик солдата, выбросившего в пропасть винтовку, был перекрыт мощным, единым, из всех глоток поднявшимся криком:

– Урра-а-а-а-а!.. За Царя!.. За Родину!.. За веру!.. За вели-и-и-и-ую Росси-ию-у-у-у-у!..

К бестолково орущему солдату подъехал на коне казачий есаул. В его кулаке звездно сверкала обнаженная сабля. Конь под ним храпел и бился. Есаул, прищурясь, поглядел на солдата в серой шинели, выматерился, взмахнул над ним рыбьим серебром сабли, и метельный темляк полоснул ночную тьму на эфесе.

– Еще одно подрывное слово, бесчестное, – выцедил казак сквозь заиндевелую бороду и белые жесткие усы, – и я срублю тебе башку, предатель. Ты!.. как ты можешь орать такое?!.. когда все в атаку... мерзавец!..

Солдат стоял перед ним с голой головой, и звезды вперемишку с редкими снежинками садились ему на макушку, лаская и благословляя его военную, от потрясений и потерь, седину. Казак увидел страшный шрам, идущий через весь череп. Закусил губу, слизнув сахар инея с бороды.

Думал недолго.

– На! – кинул ему саблю, и солдат цепко поймал ее, чуть не изранив ладонь остро наточенным лезвием. – Сражайся!.. Ты должен сражаться до последнего. Иначе ты не солдат, а тряпка.

Солдат схватил саблю за рукоять, затравленно, озираясь, глядел во все черные стороны ночи.

– Где генерал?! – закричал он. – Где генерал?!

Свистящая пуля, выскользнув из-за ушанки атакующего, точно, прицельно попала солдату в грудь, и на шинели стало медленно расплываться черно-алое, как сонный огромный мак, пятно. Солдат упал на снег и стал царапать ногтями запорошенные пургою камни, пыта-

ясь добраться, докопаться в предсмертном страдании до живой тайны жизни, скрытой за морозом, за звездами, за скелетами камней. Тщетно. Тайна Мира была завалена щебнем. Глиной. Базальтом. Сугробами. Досками. Чугуном орудий. Мертвыми телами – бревнами, кирпичами, булыжниками Бога, из которых Он строил, возводил...

Он медленно разжал руку и выпустил саблю, как птицу. Серебряная длинная чехонь упала на снег.

Так они лежали на снегу рядом – солдат в серой негнущейся, жесткой шинели, где не хватало медной пуговицы у воротника, и казацкая дареная сабля. А вторая пуля настигла щедрого сердитого есаула. Он схватился за плечо и стал валиться с коня, поминая Бога и черта и всех казачьих святых – и святого Иннокентия, и святую Варвару, и бедного святого Николу, – и бормотал, ловя холод синеющими губами:

– Я видел Его... видел Царя нашего... он стоял там, около дороги железной!.. там, где дрезина эта бешеная бежала... я на Него перекрестился... я не бредил... это Он был... Он... Отец наш родной... ох, моченьки нету... больно... пить...

Они перед смертью, все, до одного, всегда хотели пить.

А лавина врагов катилась снизу, от подножья хребта, и Армия катилась сверху на врага, и солдаты кололи солдат штыками, и офицеры стреляли, упав на снег, целясь, прищурясь, навскидку, лежа, выхрипывая из-за грудинной кости последнее: за Царя!.. за Царя... – и многие, истекая кровью, оборачивались, искали туманящимся взором Дворец на горе, чтобы запомнить золотое виденье, чтоб унести его в вечную, наползающую Тьму, – и люди выли, бежали, люди сшибались лбами и телами, люди садились на корточки, беспомощно хватая раненых, прижимаясь губами к друзьям в последних поцелуях, – а какие-то мальчишки, юнкера, так забоялись, так все присели на снег, сбились в кучку, сгрудились, дрожа и плача, и их всех так и перестреляли, без труда, и они падали, валились друг на друга, хватая друг друга руками, ища друг у друга последней защиты, как искали бы ее на груди матери, но это были чужие горы, это был край России, конец России это был, – и снег Конца заметал их искаженные, отчаянные бледные, уже мертвые лица, и образки на груди, под воротниками юнкерских шинелей, и скрюченные худые мальчишьи пальцы, сжимающие нательный крестик, – хотел схватить да поднести к губам, поцеловать!.. да так и замер, прошитый пулей... – а гул атаки, поднявшись до черного зенита, оборвался, а Дворец все сиял в ночной смоли, все горел недосыгаемо, и было не понять, как он стоит на обрыве, как не рушится в пропасть, – и тут маленький офицерик, тот, что поднял в атаку и кавалерию, и пехоту, обернулся к горе – без шапки он был, сорвало ее пулей, и ветер вил у него на затылке жалкие русые кудри! – и увидал, что Дворец не врыт в камень горы – он парит в воздухе, висит во тьме, как серебряная звездная шашка, как огромный золотой шлем, плывет в пустоте, как корабль-призрак, – и офицерик поднес троеперстие ко лбу, чтоб перекреститься, да не успел – медная пуля вошла ему под ребро мягко и властно, наполнив его нутро кровью, и он упал на затылок, лицом вверх, так, чтоб и по смерти можно было пустыми глазами видеть морозные сибирские звезды.

Черный Ангел летел над горами. Легчик был зорек и видел все. Ясная была ночь, и видимость была что надо. В наушниках шлема висел далекий земной гул. Земля иной раз посылала ему то робкие, то властные сигналы, и он особо не запоминал их – гораздо важнее было созерцать, вбирать подробности, мгновенно пролетающие под крылом. Никто не знал его мыслей, о чем он думает, летя. Острые пики и срезы, ножевые лезвия и серебряные топоры гольцов возникали и падали, когда кренился его самолет. Он не боялся врезаться в гору и разбиться, хотя часто снижался и шел над заснеженной землей на бреющем полете. Никто не знал его имени. Земля пыталась запросить его. Он молчал. Глубже надвигал на глаза шлем.

Может быть, у него было не одно, а два имени. Или даже три. Солдаты считали его святым. В собственной части, когда он сажал черный самолет на посадочную полосу, когда прекращался гул двигателя и он выползал из кабины, сдирая шлем со лба и вытирая пот, и скалясь

натужно и устало, его боялись расспрашивать. Командиру довольно было, что он есть и что выполняет задания.

Он летел, зорко всматриваясь, впиваясь глазами в мелькающие вершины, в ржавую грязную, мохнатую шкуру заснеженной тайги по склонам, и затаившиеся меж горных расщелин синие то длинные, как лепестки васильков, то круглые, как девичьи радужки, замерзшие озера. Он очень любил большое Озеро. Он знал его название: Байкал. Оно напоминало изогнутый длинный монгольский серебряный клинок, брошенный каганом после битвы. Синего живого, вытащенного из-под льда омуля, которого ударили по башке багром, и он перестал биться.

Он пролетал над Озером, и, он мог поклясться, ему показалось, да нет, это и в самом деле было так, что там, внизу, около берега, около покрытых снегом камней, привязана лодка, а в лодке лежит... ну да, лежит женщина, и она едва укрыта шубкой, она легко одета, – он сделал еще круг над Озером, и еще, и еще, чтобы получше разглядеть ее, – о да, женщина, нет, молодая девушка, и глаза ее закрыты, она спит или умерла. Она лежит на дне лодки, и она замерзнет, если она жива еще, ведь там, внизу, мороз не хуже, чем в небе. В такой мороз лошади пристывают в конюшнях копытами к сенному настилу. А бабы на заимках пекут в печах кислые хлебы. А бурятки, чтоб согреть чрева своих мужей, лепят из теста поозы, такие вкусные лепешечки с мясом внутри, и варят их на пару. Господи! Помоги этой девчонке. Ведь никто ее не спасет. И он тоже; он в небе, он на службе. Война есть Война. Мало ли девушек, женщин... подраненных, забитых, изнасилованных... замерзших на берегах рек, озер, морей в старых просмоленных пустых лодках... Мир полон горя. Еще одно горе пролетает под ним, под его крылом. А ему-то какое дело?! Ему-то что?!

Он сделал заход над Озером еще раз, последний. Снизил машину, чуть не чиркнув носом самолета по береговой кромке, по макушкам высящихся на холмах темно-зеленых, синих грозных кедров. Ледяные торосы поднимались из толщи сине-серого, то хрустального, то грязно-ноздреватого льда Озера. Он увидел и запомнил ее лицо. Волосы надо лбом взвивал понизовой ветер, суровый култук. Тонкие черты высвечивались изнутри лимонным, сердоликовым светом – так высвечена, на нежном женском теле, старая драгоценность. Аристократка?.. В деревнях не уродливей лица встречаешь. Россия славится красивыми девушками. Жалко ее. Застынет ведь. Зимние птицы, вороны, налетят. Исключают всю, выключают глаза. Вороны на полях Зимней Войны ох как разжирели. Птенцов готовы выводить хоть в Рождество, в наилютейшие холода.

Бедная птица. Замерзшая птица.

Двигатель взревел, черный самолет взмыл выше, по траектории в зенит. Набрал высоту. Черный Ангел вцепился в летный штурвал, сжав губы и зубы. Красавица в лодке. Спящая Царевна. И Озеро во льду. И вороны, кружащиеся в сини над ней.

.....из тьмы, из черноты выступили лики. Юргенс поднял руку и гладил их, и осязал. О!.. мама... милая мама... ты... Зачем ты назвала меня чудным именем... мне уже дали другое, и оно – собачья кличка... Может быть, я всего лишь собака, мама. И мне надо бросить кость. И натаскать меня... чтоб я убивал еще и еще... Зачем я родился мужик, мама?.. Я так не хотел. Девочке – легче. Она – нежнее. Она... цветочек...

Родной. Сынок. Женщина страдает. Женщина рождает. Женщина, как и мужчина, сражается на Войне. Я бы тоже сражалась, рядом с тобой, если бы была жива.

Но ведь ты живешь!.. там, за чернотой... за острыми зубьями черных пихт и елей... за пологом звездным, за смоляной плащаницей... вот я вижу золотой нимб у тебя над затылком, и я глажу его рукой, и он – горячий... золото жжется...

Да, родной. Золото жжется. Отец твой тоже это знал.

А кто был мой отец, мама?!.. я не помню его...

А вот он, вот лик его, гляди, выступает из тьмы...

Старик с лицом медным, широким, как крестьянская миска, лысый, с пухом серебряных волос на висках, с пушистыми серебряными казацкими усами, с глазами серыми, озерными,

вышел, подался из густой болотной тьмы, и над его изморщенным лбом тоже горел, пылал темным пламенем, золотым сусальным огнем яркий нимб. Отец!.. Здравствуй, сын. Ты мне снишься?!.. Я тебе снюсь. Зачем ты мне приснился на Войне?!.. к тому, что мне завтра умереть?.. в бою, от шальной ли пули... Нет, радость моя. Я привиделся тебе для того, чтобы жить.

Чтобы жить, любим мы.

Чтобы жить, зажигаем над головами яркие золотые нимбы: чтобы видели нас издалека наши дети и любимые, наш народ обманутый.

Чтобы жить, я родил тебя. Ты меня не знаешь. Мы встретимся. Когда-нибудь.

Я не хочу умирать, отец, чтобы свидетелься с тобой!.. Я хочу жить!.. на Войне, где угодно...

Я люблю тебя. Я твой Отец Небесный. Пусть будет с нами, что будет.

Золотые нимбы склонились, истаяли во тьме. Казарменная волосяная подушка пахла мужичьим потом. Он лежал ничком, лицом в жесткую подушку, задыхался, бредил, и его лицо было мокро, и свежие рубцы вдоль по лицу болели и вспухали, напоминая о крещенье огнем и железом.

– Вот Он!.. Гляди...

Путники поднесли руки ко лбам, прищурились; всмотрелись.

Два путника: мужчина и женщина. Оба – в тряпье, в рубище. Паломники?!.. шли издалека?!.. китайцы... чужеземцы?..

Издалека не видно было, раскосы или большеглазы.

Солнце заливало горы мощным, ровным белым светом. Морозное, ясное утро. Прозрачные насквозь небеса, чисто-синие, веселые, глубокие. Как сверкает снег на изломах гор! Режет глаз. Снеговые ножи, они летят в лицо, в глаза, летят мимо взгляда, дальше, насквозь, через душу – вон, к счастью.

Женщина крепко сжала руку мужчины. О, издали и впрямь не видать, молоды они или стары. Лица загорели до черноты. Долго шли на воле, на ветру. А Война? Она не тронула их? Не ранила?!.. Если и были раны – они, смеясь и плача, перевязывали их друг другу.

– Смотри!.. тот камень... Глаз Мира... у Него во лбу...

Прямо перед ними, на каменном восьмиугольном возвышеньи, сидел огромный, весь золотой, нестерпимо блестящий на высоко поднявшемся над горами Солнце Будда. Он нежно улыбался. Путники повторили его улыбку. Их сожженные Солнцем рты дрогнули, губы раздвинулись, блеснули под потрескавшимися губами желтые, шатающиеся от цынги зубы. Золотой Будда важно и недвижно сидел над землями Бурятии, Внутренней Монголии, Уйгурии и великого Китая, и где-то рядом, поодаль, извивалась каменной змеей Великая Китайская Стена, и где-то рядом шла, гремела, грохотала Зимняя Война, бесконечная, как уходящее в синюю бесконечность радостное небо. Война – искупление всех грехов. Есть война грязная. Есть Война Очистительная. Быть может, Зимняя Война – грех?! Быть может – святость...

В золотом лбу статуи, слепяще и сине сверкая под белым Солнцем, сидел, глубоко всажженный, зрячий синий прозрачный камень, похожий на синюю звезду Сириус, ночью поднимающуюся высоко над горами. Путник поднес к лицу руку. Перекрестился на синее сиянье. Его виски, с торчащими над скулами седыми колючими волосами, усеяли мелкие капельки пота.

– Святой Сапфир...

– Если камень у Него изо лба вынут – горе тебе, земля!.. горе, крепкая...

Оба, и мужчина и женщина, разом опустились на колени. Они глядели на узор на груди у золотого Будды. Линии, крючки и стрелы складывались в движущуюся, мерцающую и трепещущую свастику. Древний Гиперборейский Крест, катящийся посолонь. Зачем смертный человек, что ваял золотую статую, сам, жалкими смертными руками, выбил у Божества на груди вечный знак, в котором сам ни аза не смыслил?! Сила знака велика. Непостижна малому, смертному уму. Поколенья проходили под ногами у золотого Будды. Странники, паломники приволакивались из дальних стран, молились. Все глядели испуганно, восторженно на древ-

ний Крест с крючками, и золотая грудь поднималась и дышала. И синий камень во лбу Будды горел и плескал синим огнем в маленьких смертных людей. Никто не знал тогда, что грянет Зимняя Война.

Нет, знал. К избранным золотой Будда внезапно наклонялся, светил в них синим камнем, шептал им слова. Люди падали наземь. Иные умирали со страху. Кто оставался жив – запоминал нечеловечью речь. Как ни просили его, слышавшего, потом сказать, повторить – слышавший молчал. Имеющий уста да не скажет. Имеющий сердце да сдержит его биенье.

– Ты счастливый, золотой!.. – задушенно крикнула снизу вверх женщина.

Капюшон сполз у нее с головы, и на Солнце блеснули белые волосы. Вся седая. Кто? Откуда? Птица, подлети поближе. Видишь круглым глазом, птица, – лицо в шрамах, в порезах. Ее мучили. Вейся над нею, военная птица. Кричи, клекочи. Путница, жена путника. У человека на земле должна быть пара. Иначе он свалится, как тягловая лошадь, воздымет избитые ребра, задохнется и умрет.

И лишь один золотой Будда здесь, в горах, где идет Зимняя Война, знает, что никто на свете не умрет никогда. Ни от пули. Ни от бомбы. Ни от разрыва снаряда. Ни от великой и жалкой, нищей смерти своей.

Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-там. Барабан во мне. Бьет меня в ребра. Мне больно. Глухой и четкий стук. Сердце?! Нет: мертвый барабан. Кто тебя всадил внутрь меня. Кто держит в руках палочки. Ведь барабанщик убит. Убит давным-давно в бою. И барабан плывет между синих льдин Озера. И палочки плывут отдельно. Кто же тогда стучит. Кто.

Когда он оказался в обыденном мире, в странном миру, в пространстве вне Войны, он понял, до чего мир мрачен и роскошен. Он уже отвык от такого роскошества. Он только помнил, что теперь его звали Лех, – и больше ничего.

Прыгнув в мокрый снег, в дождь вперемишку со снегом, с самолетного трапа, он двинулся в мир, как штык вдвигается в живое тело. Он был мужчина, мужик и солдат. Он хорошо помнил, что должен делать в чужом и странном мире, в мире без Войны. Приказы генерала и наставленья Яна звоном отдавались у него в голове.

Он шел по странной, шумной улице, в круговерти толпы, гомонящей о чем попало, заглядывая на витрины торговых лавок, сверкающих всяческой разноцветной снедью, турмалинами вин, срезами гигантских ветчин, топорщащимися колючими изумрудными ветками Рождественских елок; Бог ты мой, он прилетел в Армагеддон в самое Рождество, и везде, перед кафэ и лавчонками, перед фешенебельными магазинами и бистро, перед Центральным Телеграфом и перед церквями, изукрашенными к Празднику огнями, свечами и яркими лентами, везде торчали елки, много елок и елочек, а на Прекрасной Площади, в сердце Армагеддона, тоже стояла елка, черная и мохнатая, как огромный медведь, и на ней висели бумажные бублики и звезды из красной фольги, – и еще грецкие орехи, обернутые сусальным золотом, и он подошел на Площади поближе к елке, оглянулся воровато и украдкой, быстро, резко, рванул с ниточки один такой орех к себе, и в карман сунул. И засмеялся. Вот и гостинец ему. Боже, да какой он мужик. Он просто мальчонка. Он же еще мальчишка. А его хотят сделать железным воином. Как жаль, что он не родился военным танком, что его не отлили в доменной печи. Было б лучше и сразу как-то спокойней. Железу в мире лучше, чем живой плоти.

Где он будет жить? Что жрать?..

Да ведь и спать тоже человеку надо; железу спать не след. Железо всегда должно бодрствовать. Наставлять дуло в ночь.

Вдоль по улице горели яркие, слезящиеся фонари. Свет вздрагивал, плыл меж ресниц. Лех, тебе негде жить и спать. Еда – черт с ней. Голову бы приклонить. Кому бы на грудь. Если бы найти подушку. Или чужой женский живой живот.

Он засунул руку в карман и помял пачку купюр. А, да, вот, здесь, в нагрудном кармане, еще одно, он и забыл. Картонный квадратик, бедная бумажка. Если всунуть такой квадратик в банковский железный умный ящик – золотая чешуя сама посыплется тебе в руки. И ты снимешь номер люкс в гостинице-пять-звездочек. И закажешь знатный ужин. И сногшибательную девочку. И утром – кофе в постель. А хочешь, и шампанское. Генерал снабдил его деньгами вдоволь. Жирный Марко, приблизив слюнявый рот к его уху, выщедил: «Конечно, ты можешь тут же выпотрошить все свои закрома, сявка. Тебе никто слова не скажет. Мы все далеко. Заданье ты помнишь. Если ты не кромешный идиот, ты повременишь и затянешь пояс сок потуже. Если ты шибко проголодался – что ж, шикауй. Только потом... позже... когда ты выпустишь все потроха наружу... будешь ночевать под забором... и не будет копейки, чтоб купить лезвие для бритвы, и так и сдохнешь в щетине, небритый... пеняй на себя. Мы тебе уже не помощники. Карабкайся сам. Ноготки только не обломай. И зубки». Он осклабился навстречу жирной морде Марко. Уж он-то не пропадет. Он знает, что почем в мире.

Он не знает. Он, верно, подзабыл уже.

Он остановил заглодавшей рукой визжащее по заснеженной страде авто.

– Куда-нибудь...

– Куда?! Ты что, немой?!

Как называется место, где едят и спят, если у тебя нет никакого дома?! Черт. Его и вправду, должно быть, контузило в том, первом бою. Он не помнит ни боя, ничего. А потом еще Кармела скинула его в ущелье. На острые камни. Он крепко ударился головой. К чертям Армагеддон. Красиво жить не запретишь.

– В гостиницу, дружище. Я... выпил лишку. Башка трещит. Прости.

Шофер понимающе ухмыльнулся.

– Как не понять. Дело нашенское, мужицкое. Эх. Куда ж тебя свезти-то, а?.. Разве в «Савойю»!.. ночлежка – класс... отдохнешь по первому разряду... если, конечно, у тебя деньжатки водятся за пазухой...

Он впрыгнул в машину. Бухнул дверцей. Вытащил из кармана, не глядя, деньги, сунул шоферу.

– Вези, сделай милость.

Дядька ошалело обернулся к нему. Мозолистые крючковатые пальцы вцепились в руль до посиненья.

– Ты... спятил?!.. да я тебя за эту монету... до Парижа доведу!.. За кого мне рюмашку-то подымать в застолье?.. а?..

– Лех. Лех меня зовут.

Он истончил губы в усмешке. Подумал про себя: эх, какой я молодец. Быстро я к новой кличке привык. Да и то красота – все покороче, чем прежняя. И друзья не найдут. И враги не опознают. Я и сам себя не опознаю... если вдруг что.

У них на Войне был такой святой обычай: Железную Звезду, награду за подвиг в бою, надо было бросить на дно походного котелка, залить водкой, водку залпом выпить; кто не соблюдал обряда – был недостоин зваться героем. Он был тогда еще Юргенс. Он налил водку не в кашный котелок – в собственную каску. Доверху. До краев. Его каска еще не была дырявой. Он выпил всю водку. И не закусил ничем. И рукав не понюхал. И не крякнул. И в обморок не грянулся. И не вздохнул. Выпил, бросил каску на заметеленную землю, выпрямился и пошел. И пошел, пошел, пошел прочь, прочь от людей, молча стоявших и смотревших ему в обтянутую грязной гимнастеркой потную спину.

Где сейчас его Железная Звезда?

Он заплатил за роскошество все, что он только мог заплатить. Он вывернул карманы. И еще много оставалось.

Его ввели в обитое бархатом и парчой обширное логово. О, да здесь лежище богатых зверей. Куда ему, зимнему волку. Ему тут не место. Его шрамы заболят, если прикоснутся к столь нежным простыням. Это дамасский шелк?.. Ах, нет, китайский. Нить прядут шелкопряды. Личинки кладут в кипяток, чтоб они сдохли и можно было распутать белоснежную нить, шелковый кокон. Смерть живого дает жадным людишкам мягкую, лучистую, нежную красоту. За красоту надо платить смертью. Слуги внесли в номер подносы с едой. Лех раздул ноздри. Черт, это еда так пахнет. А он думал, духи. Вот кровать. Он, в чем был, рухнул на атласные зеленые луга одеял. Все попрыскано ароматами... убиться, застрелиться!.. зачем человек так себя любит, обихаживает... они называют это... культурой?.. Черт. Глаза слипаются. Мурлыкает вкрадчивый прислужный голосок. От меня чего-то хотят?.. нет, это мне что-то хотят принести... Несите, черт с вами. Только дайте поспать. Я прилетел с Зимней Войны. Я чертовски устал. Я устал убивать. Бессмысленно. Ни за что. А может, мне просто приснилось, что я убивал. Я никого не убивал. Слышите, люди, я никого не убивал. Не заводите будильник, умоляю вас. Не звоните в колокольчик. Горничная... а она хорошенькая?.. черт с ней... Кармела... Диана... просто – Машка... спать... быстро спать...

Он уже спал, лежал вверх лицом и храпел, когда в номер вошла, стуча высокими каблучками-шпильками, горничная с темно-шоколадной кожей, в белоснежном фартучке, наклонилась и взбила темными руками сугроб его подушки. Миг, другой мулаточка пристально глядела на спящего. Осторожно подалась вперед. Ее руки протянулись к пуговицам рубахи. Она раздела постояльца быстро и проворно, нежно и бережно. Закатила под простыню. Укрыла толстым, теплым, невесомым одеялом. Он не проснулся.

Сон. Ему видится сон.

Кому видится сон?

Никто никогда не знает, кому и зачем видится сон.

Сон – это жизнь. Это более, чем жизнь. Сон – жизнь, что сбылась, когда не сбылись мы.

Лязгнули затворы. Монах, весь затянутый в черное, мрачное, повел подслеповатыми глазами вбок, ухватил зрачками белое, мотающееся в небе на ветхой веревке молочное Солнце. В последний раз Солнце видеть. И Тот, на Кресте, видал его когда-то в последний раз.

– Молитву бы... на исход души...

Встала, замерцала Сияньем страшная тишина.

Люди в отрепьях топтались на снегу, как медведи. Руки у них были закинута за спину, запястья перекручены веревками.

– Покреститься б...

– Не терпит Антихрист креста, руки вяжет... Что ж... крестись, братия, умом...

Хлопки выстрелов, сухие и беспощадные. Крики. Сдавленные стоны. Кровь на заиндевельх камнях. На комьях замерзлой каменно земли.

Кромка холодного белого песка. Берег моря. Они падали на продутый ветрами песок, перемешанный со снегом, твердым и колючим, как залежалое пшено, как попало – кто мешком, неуклюже и тяжело оседая, кто раскинув руки, будто собрался лететь, кто вытягиваясь в дикой судороге, ловя ветер распыленным, молчаливо кричащим косым ртом.

Последние бормотанья. Последние, бессмысленные, бредовые слова.

– Братие, тайну открою... здесь, с нами, Цари, среди нас...

– Помолитесь и за них...

– Где, где?!.. Господь, прими...

– ...ежели и так – гибель благо... спасибо за пулю, народ наш неразумный... бо не ведали, что творили, никогда, во веки веков... ох, больно... прими, Господи, душу раба Твоего...

На промерзшую, сухую и колючую землю, в темнеющих отсырелых рубцах залысин, выливанных прибоем, падали, цепко и отчаянно хватаясь друг за друга, двое – мужчина и женщина. Косы женщины, короной уложенные на голове, когда-то золотые, сияли сединой насквозь. Она

прокусила себе губу до крови, но не закричала. Солдаты стреляли в нее близко и сразу попали, прострелили грудь, живот. Мужчина упал на одно колено, рукой вцепился в ее руку, лицо его перекошилось от невероятья последней боли. Господи, все что угодно, только не такая боль. Как тяжело умирать. Как трудно это, как больно, Господи. И это лучше, чем принимать муки Твои. Он помнит, как на их глазах вывели людей на мороз и обливали водой из ведер, из пожарных шлангов. Все, облитые водой, застыли. Все превратились в глыбы льда. И рты у людей под слоем льда, подо льдом, прозрачным, как слеза или алмаз, кричали. Рты кричали: ЗА ЧТО?! ЗА ЧТО, ГОСПОДИ?!

Прозрачные, серо-зеленые, как морской лед, глаза мужчины уставились в небо. Небо мое далекое, небо широкое. Я твой Царь. Я больше не Царь моей земли. Я Владыка неба, я Царь облаков и туманов. Повелитель Сиянья, что заматывает весь Север цветным светящимся бешеным шарфом. У моей Царицы был такой газовый легкий шарф, летящий по ветру, особенно когда она стояла на палубе яхты «Штандарт», я ей его дарил. Я его в Лондоне купил, в городе счастья, слез и тумана, и я погружал в легчайший газ лицо, чтоб отереть свои слезы радости: я люблю тебя, моя Царица, Принцесса моя. И ты родишь мне детей. И мы с тобой поплывем на корабле, на нашей яхте, вперед, к счастью.

Он падал, падал на холодный песок, и вихрился снег, и взвивалась пурга, начиналась полярная, страшная пурга, затягивала свет Солнца белой погребальной пеленой. Монахи, лежащие на земле в крови и грязи, стонали, еще живые, и им в лица и бороды летел жгучий, последний снег. Они не врут, монахи, что мы – среди вас. Да, мы среди вас. Мы и были всегда среди вас. Вы только не подозревали об этом. Да и не надо вам было знать. Мы же тоже – народ. Мы ваш народ. Мы теперь не ваши Цари. Мы ваши седые волосья; ваши скрюченные в смертной муке пальцы; ваши вытарашенные в ужасе последнего страдания глаза; ваши голодные, торчащие ребра. Мы – ваш Христос. Он сошел с Креста и стал нами. Женский Христос и мужской Христос. И детский Христос тоже – с вами. Наши девочки. И наш мальчик. Вы думали – они укрыты. Спасены. Нет. Они тоже были с нами. Нас взяли всех вместе. Нас вместе убивают. Это, монахи, большое счастье. Его не вместить разумению.

Мужчина, простонав, свалился на снег. Женщина упала на него, сверху. Ее лицо повернулось к небу нелепо. Гусиная шейка выгнулась, чуть не сломалась. Они лежали на берегу моря, расстрелянные. Они были последние Цари. А может, они были просто последние сумасшедшие, сошедшие с ума в тюрьме от побоев, голода и издевательств. И никто, даже расстрелянные монахи, им не поверил.

Тюрьма. Они были заключены в тюрьму.

Такое бывало с русскими Царями. Со всеми Владыками такое бывало.

Что такое Владыка? Это тот, кто властвует над тобой; над миром твоим. А разве ты сам не можешь владеть миром своим?!

Они тако хорошо пели песни, когда их выгоняли на каторжные работы. Их выгоняли на гору Секирку – пилить и рубить деревья, сосны и ели, и они рубили и пилили, а пока работали, Царь пел песню, старую русскую песню, – сейчас никто слов не вспомнит, как он пел, такая старая песня была. Наши прадеды ее певали, знали. И Царица вторила ему. Царица хорошо вела втору. Они пели в терцию, отирая пот со лба, со щек руками в дырявых грубых рукавицах. А потом и рукавицы у них отняли. И Царица отморозила пальчики. Царь держал ее ручки в своих и дул на ладошки, грел дыханьем. А конвоиры злились, орали. Плевали в них. Кричали: «Давай работай!.. Что стоишь!.. Царь е...ный!» Он улыбался. Надсмотрщик, вечно навеселе, лысый, плохо бритый, в кустистой щетине, мужик по прозвищу Свиное Рыло, подскакивал и бил Царя наотмашь рукавицей – в скулу, в висок. Однажды рукавицу на землю отбросил, размахнулся и выбил кулаком Царю зуб. Царь плюнул зуб на морозную землю, улыбнулся, сплюнул кровяной сгусток и весело сказал: «Зерно белое, крепкое, прорастет, ровно к часу

гибели Вавилона твоего поганого». И улыбнулся еще раз. И еще много, много раз. И Царица нежным, прозрачным, как долька лимона, глазом смотрела на него, беззубого, и гордилась им.

На каторге с ними были дети. Они их не видали – Семью разлучили. Разорвали и детей; девочек разбросали, как щенят, по баракам и землянкам на Островах, мальчишку кинули в разрушенный старый острог, потом утолкали в Распято-Голгофский храм, что возвышался на лесистой невысокой горе над морем, видный издали, что с моря, что с суши. Храм давно уж был не храм. В нем творились непотребства. Там спали, там били людей. Там в алтаре мочились и испражнялись. Там стояла вонь от сотен невымытых людских тел, прижимающихся друг к другу в тяжелом, беспробудном сне.

О, девочки. О, нежные. Вы плакали поодиночке. Вы научились не плакать. Ваши глаза высохли. Ваши белые ручки пряли метелицу, заполярную пургу. Вы молились Христу: Христос наш, родной, и Ты тоже страдал, и Ты нам заповедал страдать. Мы молимся за Твоих врагов. За наших врагов!

Девочки крестились, и солдаты наотмашь били их по сложенным для знаменья пальцам, по осеняющим рукам.

Одна девочка особенно хороша была. Солдаты поспорили, кто ее скорей изнасилует. Ей приказали нацеплять на лески отрезанные, отрубленные для остратки пальцы и кисти рук – и развешивать дикие ожерелья на покосившихся, разохшихся и заржавелых Царских Вратах. «Как зовут тебя, краля?! – кричали ей, а она насаживала на гвозди леску с кусками человеческого мяса и морщилась, и плакала, и крестилась, и молилась, и смеялась, сходя с ума. – Эй, как же тебя зовут?!.. Молчишь, сука?!.. Да мы ж заставим тебя говорить!..» Солдаты подбегали к ней, вынимали ножи из-за сапожных голенищ, запрокидывали ей голову, щекотали лезвием горло. Девочка молчала. Обводила солдат слезно налитыми, прозрачными глазами. Озера глаз. Моря слез. Какая плаксивая, кисейная. На розах, на лилиях спала. Поспи теперича на голышах, на валунах. На земличке чертовой поспи, сволочь. Ты, ты нашу кровушку пила тоже. Тебе – в фарфоровой чашечке ее подавали. Сливочками разбавляли. Вот и была ты кровь с молоком; а нынче?! У, сука. Острие ножа втыкалось ей под исхудалые ребрышки. А если мы твое поганое сердчишко вырежем, как у зайца?! Голубую твою, синюю Царскую кровь – пустим?!

Девочка молчала. Затравленно озиралась. Ее большие серо-зеленые глаза дрожали, и слезы выливались из них струями, потоками на впалые голодные щеки. О, русые волосенки. Почему у тебя на руке нет пальца, девчонка?! Отрубила... на работах?!.. Саморуб?!.. Отлынить хотела?!.. Знаем мы вас, Царевен. Вам бы – на перинах дрыхнуть... ножонки раскинуть бесстыдно...

Однажды ночью она проснулась и заплакала. Ей приснилось, что мальчика, ее братика, расстреляли. Его правда расстреляли тогда. Ей было виденье – ночь, двор меж бараков, пни-выворотни, белые, как кости, валуны. Мальчик лежит вниз лицом на каменных плитах, у него рана под лопаткой, в заплечье и в затылке. Они и в лицо ему тоже стреляли. Как хорошо, Стася, что ты больше никогда не увидишь его взорванного пулями, изрытого, изувеченного лица. Кровавая каша – это не лицо. Леша. Леша! Она помолится за тебя.

И она целую долгую морозную ночь, дрожа и плача, молилась за него, стоя голыми коленями на ледяных досках барака.

И было так, что Папа и Мама к ней тайком приползли. Достигли ее. Они проскребли по стене барака: это мы, мы. Она узнала шорох. Она услышала. Она выползла наружу. Ночь, стояла холодная полярная ночь. Павлиньи веера Сиянья резко, нагло ходили по черному дегтю неба. Цари, ее родители, задрожали и обняли ее. Доченька!.. Дыханье захолонуло. Они, все трое, были холодные, мерзлые, как мертвые. И они были живые. Они обливали слезами лица друг друга. Папа и Мама шептали: на вот, возьми, ты сохранишь, тебя не убьют, это тебя спасет, ты вырвешься, ты выплывешь. Если тебя будут убивать, возьми в рот, проглоти. Пусть тебя убьют – с ним внутри. И совали ей в руки холодный, мерзлый каменный катыш. Она узнала, что

это – на ощупь. Засмеялась радостно. Как, Мама, неужели ты сохранила. Где же ты прятала... все это время. Отец положил руку ей на губы. Молчи. Таись. Теперь тебе одной владеть. Ты не сронишь. Не предашь. Ты передашь. У нас будут внуки. У нас должны быть внуки. Это камень Царей.

Она крепко сжала заолодавший, мокрый от бьющего снега кулак. Поднесла к лицу. Разогнула крючья пальцев. На ладони лежал глаз хрустальной синевы. Око Мира. Деточка, это великая драгоценность. Это камень из Царской короны?!.. Да. Он сиял в короне русских Царей. А еще раньше он сиял во лбу золотого Будды далеко, в чужих великих землях, на Востоке. Мы ведь восточная земля, Стася. Мы – Азийская земля. И Азия – владения русских Царей. И ты – азиатка, хоть волосы русые твои, и мягко выются. Зачем, зачем вы вынули из лба Божества его Третий Глаз?! Он же... глядел им! Он видел им и провидел им! А вы...

Она плакала. Она неутешно плакала. Родители неловко, неуклюже утешали ее. Их руки огрубели, отвыкли гладить и ласкать. Не хнычь, девочка. Это не мы вынули его. Это сделали давно, столетия назад, посланники русских Царей и их верные воины. У тебя, Стася, тоже когда-нибудь будут воины.

Воины?! Это значит... палачи?!

Держи, держи крепче. Не урони. Ты не имеешь права потерять его. Этим Глазом мир глядит Богу в глаза.

Она держала крепко. Она привязала на суровую нитку. Она обмотала нитку вокруг живота, и синий холодный камень висел у нее над пупком, под обветшалой рубахой, и холодил кожу, и заставлял содрогаться девственное чрево. Она не знала, куда деваться от мороза, исходяемого камнем. Она боялась его, но это Мама и Папа дали ей его, и шептали, и плакали: сохрани, это талисман из Короны, это Око Мира.

Ее убьют, а веревку сдернут у нее с живота. Вот тебе и все Око Мира.

И он укатится в снег, в сугроб. Как синий, человеческий отрезанный палец.

Лех, у тебя должны быть назначены встречи.

Лех, ты должен сегодня же встретиться с людьми.

С какими людьми?

Разве у этих людей нет невидимых копыт... невидимых рожек? Разве они не высовывают сквозь невидимые зубы невидимый раздвоенный черный змеиный язычок?

Он потянулся; тело воистину болело и крутило, как с похмелья. Кулак ткнулся в телефонный аппарат на журнальном столике. Гостиница, постоялый двор, ночлежка, черт. Бездна роскоши. Цветной паркет, на потолке поганая лепнина. А люстры, а торшеры. Услужливая горничная, пока он спал, приволокла ворох свежих Армагеддонских газет, усыпала ими столик и кресла. Читай не хочешь. Читать – что? Как убили еще сотню людей на Войне? Как отец изнасиловал дочь? Как вывели из куска плоти, из невидимого семени еще одного смеющегося человечка? «Антихрист родится от семени человеческого, но не от сеяния человеческого», – кто это и когда сказал? Какой-нибудь Ефрем Сирий... стой, Лех, а ты помнишь, кто был такой Ефрем Сирий?.. Сирий... Гамаюн... Птицы вещице... клювы раскрытые... песни, душу вынимающие...

Он схватил трубку и набрал номер, сто раз повторенный ему там, в Ставке, жирным Марко. Голос на другом конце провода ответил ему, как обрезал.

Так взмахивают ножом над ветхой перетертой веревкой.

– ...гуляют там художники – невиданной красы!.. – вот как надо это петь... Это не такие слова!.. это все вранье... Вы, недоделки!.. вина мне еще, апельсин... Ха!.. Я пьяная?.. о, бархотка с шеи свалилась... Дюша, подними... будь ты хоть рыцарем... мурло!..

Оглядишься в мрачном, странном застолье. Ты не зря сюда попал. Ты здесь и сейчас везде попадаешь не просто так. Все так задумано. Мрачная комната обита черной, коричневой, со слезной блестящей, ночной тканью – и стены, и потолок, и тяжелые, мордастые, как бегемоты,

диваны и кресла. Горят настольные лампы без абажуров – голым пытошным светом. Пляшут свечи на сквозняках. А где люстра? А нету люстры. Два, три стола сдвинуты вместе – в один чудовищный огромный стол, и он накрыт, как слон попоной, тяжелой бахромчатой скатертью. На столе – на блюдах из старинных перламутровых сервизов, на больнично-тюремных простецких алюминиевых мисках – горят, пылают апельсины и мандарины, круглятся ананасы и гранаты, топырят бесстыдные ноги жареные куры. Вина – залейся. Армада бутылок. Рука сама тянется к горлышкам – ухватить, налить. Опрокинуть в глотку. Глотка пересохла от жажды. Глотка так орала на Войне. Глотка воевала, надсаживалась, напрягалась, хрипела. Глотка так давно не пела, не ворковала, не пила хорошего вина.

Гости вокруг стола сидят и стоят, шевелятся и мотаются взад-вперед – все в режущих глаз, ярких цветных одеждах. В Армагеддоне издавна так – лишь по одежке тебя встречают. А там хоть трава не расти. Табачный дым вьется к потолку. Курят. Здесь тоже курят. Везде, знаешь ли, курят. Без курева на Земле нельзя. Народ никогда курить не бросит. Эх, Кармела, где твои дерьмовые сигаретки. Видала бы ты, что здесь курят. «Мальборо»... «Данхилл». И еще чудные названия, незнакомые. Куда тебе, армейская табачница. Как надменно, изящно ручку с сигареткой ото рта вбок относят. Сами себе подмигивают; сами себе улыбаются, смеются. Сами с собой балакают. Декольте нагло открывают веселые груди, тощие хребты. Ожерелья слепят. Ну, зажмурься. Но ты не жмуришься. Ты глядишь во все глаза. Ты так давно не глядел на разодетых людей. Ты привык к мужикам в гимнастерках, в заляпанных грязью сапогах, в бронежилетах. Полюбуйся на эти лица. На лица человеческие. Лица разные – жирные и уродливые; тонкие, печально-прозрачные, молитвенные; нагло-румяные, высвеченные белыми зубами торжествующих улыбок; старые, иссеченные морщинами, как дождями. Вот, гляди, милая девушка, у платья откромсан портным весь верх, вся грудь наружу, почти обнажена; она встает на колени перед усатым, котиного вида юношей с пресыщенной толстощекой мордой; и ее лицо молча говорит: «Сжался!..» Он небрежно треплет ее по волосам, и его пальцы-сосиски цедают: «Ну да... попозже... если ты будешь умницей...» Ты хочешь сделать шаг к усатому коту и въехать ему в морду кулаком. Ты этого не делаешь. Ты здесь с заданьем. Сюда, на вечеринку, должен явиться некто, кто тебе нужен. Ты не имеешь права его упустить, прошляпить. Лучше не гляди по сторонам. Лучше зажмурься. Ну и глупый вид будет у тебя тогда. Все зрячие, а ты зажмурился. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто за мной стоит, тот в огне горит. Кто не спрятался, я не виноват.

В темном углу, за горами бархатных кресел, худой мальчишка в белых штанах, с белыми волосами нежно и тонко играет на лютне. Бормотанье лютни, тебя заглушит иная волна. Вот она наплывает, надвигается из динамиков, расставленных по углам мрачной залы.

Лех, ты белая ворона среди гостей. Ты ведь тоже, как и тот мальчонка, в белом костюме. На кой ляд ты выбрал в тряпичной лавке именно такой, светлый. Сейчас же не лето. Сейчас зима. И ты такой суровый. Ты приехал с Войны. Но им не обязательно об этом знать. Однако все пялятся на твои шрамы. Он ощупывает свое лицо украдкой, между поднятием рюмки с анисовой водкой – о, улыбка на суровых устах, ты, Лех, можешь еще мило улыбаться даме визави, – и заталкиваньем в жадный рот апельсиновой дольки. Да, тебя здорово помяли ТАМ. А здесь... для них – это игра. Инсталляция. Толстая дама с тремя подбородками, раскачиваясь, одышливо подгребает к нему и, пока он не успел опомниться, любопытствующе щупает его изрезанные шрамами щеки мягкими сарделечками: «А это не маска?.. Это вы не нарочно?..» Он страхнул ее жирные руки, как мух. На миг ему почудилось, что на нем не белый шикарный костюм, а выгоревшая гимнастерка. О, бред. Вот она – под лацканом ихнего вшивого белоснежного пиджака. Вот – торчит грязь, пот, болото, кровь, смерть, снежный острый блеск близких гор. А вы все идите на...й. Он еще военный. Он еще в своей родной одежке. Он еще не вписался в праздничную жизнь вашего сытого Армагеддона. Еще не пообвык.

– Лех, о, Лех!

А, это его новый знакомец. Он скиталец; он одинок. Он хочет обрести новыми приличными знакомствами, а у него не получается. На него нарываються бродяги, лупанарцы, люмпены, богема. Нищие бегут на него, как мыши на сыр. Значит, он и сам нищий. И богатым костюмом их тут не обманешь.

Вот и этот... да ведь тоже человек. Сколько их, человек, на земле. И все не обязаны быть твоими друзьями. Ты не должен заводить в Армагеддоне друзей. Ты здесь с заданьем.

Божье заданье – жить.

Остальные... выдумка людская?!..

– Ну, отлично, Лех, что я тебя сюда затащил?! – Bravo, пусть так и думает. Это ему на руку. – Классно, я позвонил тебе в гостиницу... и позвал сюда, да?.. Ты хоть развеешься немного... костюмчик у тебя что надо!.. Супер!.. Пей!.. и танцуй... видишь, сколько бодливых козочек... приглашай... а то совсем одуреешь в одиночестве от своих высокогорных снов... Снится Война, Лех, да?.. – Какое он право имеет ТАК спрашивать его про Войну. Это все равно что похлопать святого на иконе во храме по плечу. Или прилепить свечку к его воздетой иконной ладони. – Еще бы не снится!.. Так тебя потрепало!.. Ты ешь и пей!.. Веселись!.. Ты уже ел что-нибудь?.. Пил?.. Здесь хозяйка такая – блеск!.. Хитрюга!.. Валюты у нее завал, у нее какие-то парижские родичи, и сама она знаменитость, но, ходят про нее слушки, знаешь, – чтоб попусту на вино валюту не тратить, она готовит сама отпадное вино – домашнее – и втихаря его наливает в фирменные бутылки!.. И не отличишь!.. Ты ж не дегустатор из Массандры, верно?..

Как трещит парнишка. Как трещотка. Как они много говорят здесь, в Армагеддоне.

– А вдруг я дегустатор?.. Откуда ты знаешь?..

– Да-да, конечно. Я и забыл. Ты дегустировал там мазут и ржавчину на дулах автоматов. Съешь лучше галаретку! Кровь заиграет.

– А Стив здесь?..

– Здесь. Я его сам привел. Вот он.

Лех вскинул лицо. Увидел. Вон он, слепой в черных очках, сидит за роялем. Перебирает клавиши. Он слепой. Он не видит лица Леха. А Лех так пристально глядит на него. Стив, солдат Зимней Войны. Там, далеко, в горах, они были рядом. Они не знали друг друга. Они зажмуривали глаза от ужаса в одних сраженьях. Только Лех остался зрячим. А этот ослеп. Он ни за что не скажет ему свое настоящее имя. Он его теперь не скажет никому.

Музыка лилась из-под пальцев слепого пианиста размеренно, раздумчиво, торжественно, будто билось большое, любящее сердце. Ему было плевать на людей. Он обнимал музыку, и музыка любила его. Его лицо, его рот, его черные очки были отрешены и недвижны. Вокруг него орали, чокались, хихикали, мурлыкали, – он играл. Музыка была превыше всего на свете. Превыше взрывов и воронок. Превыше смерти самой.

– Арк, что он играет?..

– Лех, ты такой тупой, да?.. Он импровизирует. Ну, сочиняет на ходу. А потом это все забывает. Божественные мелодии...

Миг, другой, третий они оба стояли молча, слушая импровизацию человека в черных очках.

– Сколько тебе платят, Лех, за пантомиму в кинотеатре?..

Пантомима – его алиби. Его мишурная декорация. Все, что он делает в Армагеддоне, будет делаться за этой ветхой грязной ширмой.

– А... – Он махнул рукой и сплюнул прямо на навощенный паркет. – Говорить об этом не хочу. Не уязвляй меня зря. На прокорм хватает.

– Однако монетки у тебя водятся, дружище, а?.. недурной костюмишко!.. Где купил, признавайся?.. в салоне Лисицына?..

Как весело, безудержно смеется это прощельга, бедный армагеддонский шкет. Как он артистически закуривает. Дымит поверх лица Леха, его резких грубых шрамов.

– А врешь ты все, брат!.. ты этот смокинг... напрокат взял!.. у актеров, вечных друзей наших, одолжил... ну?.. прав я или неправ?.. вывел тебя я на чистую воду, а?!..

Лех, прищурясь, глядел на парня. Простой уличный художник; заборы узорами расписывает; киоски красной краской, для смеху, красит. Шальную деньгу зашибает. С кем водится?.. вся улица – его... а в благородного не прочь поиграть... на всех празднествах, презентациях Армагеддона – первый... и в рот, меж зубов, далеко заправляет виноград – кистями, пирожные – так целиком...

Он молча наклонил тяжелую голову: да, так, все так.

– Ну, это поправимо!.. – Парень захохотал, взял со стола половинку апельсина, стал чистить. Лех вдыхал брызги острого спирта, эфирных масел, разлетающиеся из дырчатых пор шкурки. – Закадри хозяйку. Я тебе говорю. Это знаменитейшая женщина. В Париж мотаться будешь. Галаретки жрать каждый день. Забудешь бедность, нищету. А сама-то она, сама!.. разуй глаза. Да только не по тебе орех. Тут, знаешь, многие пробуют. И – обламываются.

– Отвали, Арк!.. Иди-ка ты танцуй.

– Я – только с хозяйкой. – Мальчонка был уже немножко пьян. Его пошатывало, бессмысленная улыбочка взбежала на губенки. – Она знаешь как танцует?.. всех святых выноси...

Святых не нужно выносить никогда и ниоткуда. Святые – это святые. И не трогать их руками. И не говорить о них всуе. Лишь молиться им.

Господи, я молюсь только Тебе. Ты спас меня на Войне; спаси меня здесь, в Армагеддоне. Я для них – экзотика, незнакомец. Белый костюм, все в шрамах лицо. Если меня раздеть – вся в шрамах спина. Кому я к черту нужен. Только Тебе, Господи. Если эта Война все еще идет, необъявленная и без видимых причин, значит, она имеет смысл, и этот смысл Ты сам ниспослал, Господи. Иначе все бессмысленно. Все. Как эта улыбочка Арка. Как блеск белых плеч и спин в вырезах наглых платьев. Как вино, льющееся в глотки.

Я для них никто.

Где человек, нужный мне здесь и сейчас.

Его нет. А не пойти ли тогда и правда танцевать.

В темный табачный воздух острым клином врубается страстная, возбуждающая музыка. Яростно и настойчиво бьют колокола высоких тонов – жестоко, непрерывно.

И раздастся на всю залу резкий, как эта музыка, крик: «...на стол меня! Хочу танцевать на столе... среди бутылок!.. – как когда-то – Лили Марлен! Ну!..»

Этот крик снится ему, видится. Этот крик входит в него, как нож. И лезвие, вытасченное из него, все окровавленное, блестит, поворачиваясь, перед его закрытыми глазами.

Тебя зовут Юргенс. Меня зовут Лех!

Ты не имеешь никакого права так вздрагивать от голоса женщины. Женщина – сосуд скудельный. К черту женщину. От нее все зло. Кармела скинула тебя со скалы. Она думала, что ты уже мертв. Что будет думать эта?!

Р-раз – и под мышки мужики подхватывают и водружают на уставленный яствами стол женщину в черном бархатном длинном платье с сильно открытой грудью и спиной. Он видит – она складывает пальцы кольцом и пронзительно, хулигански свистит, привлекая всеобщее внимание, и свист ввинчивается в уши, бьется о мрачные стены залы, разрезает люрекс обивки, отталкивает от стола жрущих и пьющих. Все лица отрываются от еды, от флирта, друг от друга – поворачиваются к ней. О люди, люди. Да вам на самом деле все равно. Люди хлопают в ладоши, свистят в ответ, хохочут и рыгочут, поют, закидывают головы, раскачиваются, топают, ругаются и бормочут, и кто-то садится на пол, скрестив ноги по-восточному.

«КАК КОГДА-ТО ЛИЛИ МАРЛЕН!..

КАК КОГДА-ТО ЛИЛИ МАРЛЕН!..»

Женщина упоенно, счастливо, самозабвенно танцует на столе.

И он, Лех, забыв оба своих имени, забыв о назначенной на модной вечеринке встрече, глядит, как она это делает.

Она сбрасывает в танце на пол вихрящимся подолом платья – рюмки, чашки, миски, ананасы. Бусы ее слетают с шеи, разбиваются и раскатываются со звоном. Она движется меж посуды грациозно и порывисто, напоминая то осторожную дикую снежную кошку, горного барса, то иступленную менаду, то уличную хулиганку из подворотни, то царицу на балу, и почему на ней нет короны?! Ведь должна быть корона!.. Она сверкает и царит. Ей на роду написано на столе танцевать. Лех, гляди на нее замороженно. Спроси о ней. Ты все забыл. Как бы тебе не забыть себя.

«Это вот... кто?» Случайно подвернулся под локоть гость в смокинге, плешивый, с дрожащей губой. Распроси его. Потряси его за обшлаг, за лацкан. Вглядишься в его трясущуюся рожу, услышишь оскорбленный скрипучий голосишко: «Как это – кто?! Это наша краса и гордость! Откуда ты свалился, милый?!.. С какой Луны?!.. Это великая Сумасшедшая нашего града Армагеддона. Настоящая Сумасшедшая!.. Другие все поддельные. Все только притворяются. Она одна живет и дышит. Это женщина, которая делает в жизни, что хочет. Понял, сосунок?!» Это он-то сосунок. Он, нюхавший кровь. Вспышка свечного языка выхватила из тьмы его шрамы. И мужик, восхвалявший ему пляшущую на столе, заговорил другим, осекшимся, глухим голосом: «...прости, дружище. Я погорячился, дружище. Зачем нам, дружище, чужая земля. Зачем. Не гляди на Дьявольскую пляску. Уйдем отсюда. У меня в холодильнике дома отличное пиво есть. Такие кургузые баночки. Только горе и залить. И водочка найдется. И селедочка к ней. Идем. Я ведь не валютчик, как они, что тут... вокруг стола... Я по ночам баржи разгружаю. Я тут, видишь ли, сам не знаю, что делаю». – «Да то же, друг, что и я». – «Тебя сюда позвали?» – «Именно». – «Ну вот. И меня тоже». – «Нас всех сюда позвали. А зачем – неизвестно». – «Ваш номер семнадцатый, вас вызовут!.. И вы заикаться сразу же перестанете!..»

Идиотский смех гостя-грузчика скорее похож на рыданье, и ты слушай смех, Лех, слушай и запоминай. Это пострашней Войны будет, пожалуй.

А женщина с ярким, неподвижным, красивым, белым, раскрашенным лицом все пляшет, пляшет, пляшет на сдвинутых столах.

И он подходит к ней, продирается сквозь пьяную и праную, жирную и худую, плюющую и жующую толпу.

Кричит:

– Прыгай ко мне!

И протягивает руки.

Его толкают, пытаются отеснить, отжать. Убери свои лапы!.. Не тронь. Пожалеешь. Откуда эта стоеросовая дубина взялась?!.. Вот черт, не дал красивый танец докончить, мерзавец!.. Ходу, ходу, малый, ходу, полицию не утрудимся вызвать, сами в морду дадим, а еще захочешь – дадим еще... догоним и еще добавим... Он лезет вперед, набычившись, распахивая наседающих. Люди, живые тела, клубки тел, визгов, потных плеч, оскалы, блеск белков. Царство плоти. Где в телах запрятан дух?! Дух – в этом теле, рьяно танцующем на столе, среди бутылей и чашек?!

Он уже у стола.

И она –

– падает к нему в руки, летит-

Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-там.

Барабан. Маленький барабан. Маленький барабанчик. Он внутри. Может быть – это сердце.

Сердце не может так остро и четко, сухо стучать.

Маленький барабан – не ручной пулемет. Он не грохочет. Не поливает огнем. Он стучит сухо, резко и жестко. Четкий, костяной стук. Стук перекрывает все громы, все грохоты. Он – в висках. Он во сне. Когда спишь – от него проснешься. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-там.

Это Война. Это вечная Зимняя Война. Сквозь все огненные коридоры автоматных очередей. Сквозь рев всех входящих в пике и в штопор самолетов. Сквозь визг и ржанье убиваемых лошадей. Сквозь гул огня над пушками всех горящих танков. Сквозь все оглушение – тихий, мерный, ужасающий стук. Там. Та-та-та-там. Судьба.

Нет. Это так громко стучит сердце младенца. Прижми его к себе сильнее. Согрей. Не отпуская. Его мать умерла. Его мать умерла.

Девушка с перепутанной паутиной светлых, в золотину, волос крепко прижимала ребенка к груди. Девочка, да как еще орет. Плюет все время соску – нажеванный ржаной в туго увязанной тряпице. Эта лошадиная жвачка не по ней. Ей бы молочка. Девушка, сама почти девочка, прижимает грудничка еще крепче. Да не вопи ты!.. Тут такое... Если ты выживешь, малышка... Если мы обе выживем...

Рука девушки судорожно вздрогнула, прижимая дитя, и лунный луч, проникший через высокое окно храма, ставшего грязным бараком, выхватил из тьмы беспалую кисть. Правая рука, и безымянного пальчика нет. Не на что будет обручальное колечко нацеплять. Да мы все тут и так со смертью обручены. С тьмой и пустотой. Все верно. Так надо.

– Да не ори ты!.. My darling, my love... my funny girl...

В ночи, внутри барачного храма, сквозь храп, стоны и кряхтенье, до слуха донесся невнятный шепот. Казалось, шептали очень близко, прямо в ухо. Эхо разносило шепот под сводами. Морозом страха обдавало кожу, спину.

– Просыпайтесь, братья и сестры!.. На службу... на службу святую!.. Идемте... собирайся, братья, люди милые... Утешительный поп, отец Никодим, служить панихиду станет...

Ответный шепоток ошпарил кипятком.

– Тю!.. Сдурел старик совсем!.. Его ж как пить дать расстреляют!..

– Он сам вызвался... Ему все одно... Служить панихиду по Царю-батюшке... Вставай, народ православный...

– О-ох... Лучше б до нас военные те клятые самолеты долетели, разбомбили б нас к чертям, чем муку такую терпеть...

Вставали с полу, с каменных плит, выползали из углов и щелей, как тараканы, не люди, а призраки. Они, как призраки, светились, просвечивали белым. За окном трещал мороз. Крепка здесь зима. Да люди крепче оказались. Иных и пуля не берет. Землей, снегом чуть присыплот – земля шевелится, из-под снега к утру выпрастываются, истекая кровью, с лицами белыми, как метель сама. И тут, во храме, где спят вповалку, – призрачно восставают, власы подъяты, как у отроков в пещи Вавилонской. Грязные лица обросли непотребной шерстью, темны, одичали. Одежда на шевелящихся костях висит клочьями. Люди ли вы? Люди еще. И людьми пребудем. Это Ад. Нет только Адского пламени, жара. Есть лишь лютый мороз снаружи, холод внутри – дохни, и струйка живого пара еще вылетит изо рта, еще белым молоком растворится, разольется во мраке. Мы в царстве теней. Это Царство мертвых?! Это Царство живых, деточка. И мы живые. И живы пребудем. И Война нам нипочем. И мы пойдем на панихиду по Царю. Он принял пулю – примем и мы. Что пуля, кус железа, сделает с живой душой, излетающей вон из тела – на свободу?!

Девушка, с прижатым ко груди ребенком, медленно встала, глядя перед собой широко раскрытыми серо-зелеными, озерными глазами.

Они хотят служить панихиду по Отцу. Батюшка Никодим ничего не боится. Смелый. Его пытали. Ему пятаки факелами жгли. По ребрам железными прутьями били. Он крест с себя не сорвал. Тайно службы на Островах служит. Его завели под видом плотника к проституткам во

вшивый барак на Анзере – шлюхи возжелали говеть, и батюшка был призван, никого другого не захотели. Где кто умирал – его втаскивали через окно, его звали на лесосеку, его тащили по сугробам пацаны, шпана, чтобы поспеть, чтобы Никодим к холодеющим губам, в кровь искусанным, крест поднес. «Прибавляй-убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь, – усмеялся священник, морща высокий, с залысинами, лоб, рыжие, седеющие волосы вставали надо лбом огнем. Острые, живые глаза пронзительно сверлили человек, внимавших слову. – С мученическим венцом перед Престолом Его мне, иерею, предстать пристойней».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.